сквозь тусклое стекло
Кира
Бородулина

Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины,
Простимся, бездне унижений.
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство
И образ мира в слове явленный,
И творчество и чудотворство.
Б. Пастернак «Август»

Никогда не любил светских раутов, но есть мероприятия, уклоняясь от которых рискуешь навредить карьере. На этот выезд я настраивался неделю. Тоня успокаивала и подбадривала как могла. Я знал, и ей не очень-то хотелось идти, но приглашали с супругой. Она купила вечернее платье и посетила салон красоты, в чем, на мой взгляд, необходимости не было.

- Ладно, не ворчи, - улыбалась она, - возможно, будет даже весело.

В ответ я обреченно фыркал, а она продолжала говорить что-то про вкусности и хорошее вино.

Я отдраил машину и вырядился в черное. Тоня великолепна в неброско переливающемся платье, с изысканной прической и приветливой улыбкой. Я поймал себя на мысли, что все стерплю за возможность ею такой полюбоваться.

- Honey, you're wonderful tonight![1]

- Та дорогая была блондинкой, - улыбнулась Тоня, - а лирический герой напился на вечере, и ей пришлось вести машину!

- Я ж не об этом! – рассмеялся я.

Она в последний раз предложила взять такси, чтобы я мог расслабиться и выпить. Но я отказался.

У Мешкова уже полно народу, хотя мы до безобразия пунктуальны. Хозяин – низенький, толстенький, готовый треснуть от собственной улыбки, - облачен в черные брюки и серый пиджак на белоснежную рубашку без галстука. Встречал гостей лично, каждому пожимал руку или хлопал по плечу, одаривал угрожающе широкой улыбкой и говорил приятности. Его нескладная половина с волосами мышиного цвета, уложенными в консервативную прическу, приветствовала дам, чмокая воздух над их ушами. Моя жена тут же угодила в костлявые объятья, а я не избежал Мешковской всепоглощающей ладони и хлопка по согбенному от офисного рабства плечу. Нас пригласили в необъятную гостиную. Если бы в углу стоял аквариум, где мирно плескался бы кашалот, его бы вряд ли заметили. Мы с Тоней

[1] «Дорогая, ты прекрасна сегодня» (англ..) - название песни Эрика Клэптона.

под руку прошествовали вглубь зала, протискиваясь между знакомых и незнакомых дам и господ. Горят люстры, играет тихая инструментальная музыка.

- Тебе нужно с кем-то знакомиться? - спросила Тоня, вцепившись в мою руку.

- Уговора не было.

- Не будь таким мрачным, а то с нами никто не сядет.

Вероятно, места распределены заранее. Узрев свободный диванчик, я предложил Тоне присесть. Если кому и надо знакомиться – подойдут, мы не прячемся. Я беззастенчиво рассматривал людей и находил в этом единственное развлечение. Все вокруг казалось напыщенным и пустым. Колючие взгляды (ничем не лучше моих), силящиеся найти в любом повод для усмешки или хоть какое несовершенство. Тоня прекрасна в своей кроткой скромности, и никто из ослепительных дам не мог ее затмить, но я замечал, с какой завистью многие смотрят на нее, и во мне закипала ярость. Голова кружилась от ароматов духов, шуршания платьев, сдержанного смеха, манерных речей и наигранной радости.

Наконец позвали к столу. Мы думали, будет фуршет, но все оказалось традиционным. Тарелки терялись среди ножей и вилок, с которыми я не ведал, как обращаться. Настроение вовсе пропало. Единственная радость, на которую уповал, грозила ускользнуть.

- О, мой друг! – Мешков как из-под земли вырос. – У меня для Вас особое место! Познакомьтесь с дорогим гостем, - он простер руку в сторону высокого, невообразимо худого человека с редеющими, но длинными волосами неопределенного цвета, высоким лбом и бесконечной шеей, - Владислав Зорин, специалист по оптической физике, - он подмигнул мне, - и его очаровательная супруга Надежда.

То была приземистая, полненькая женщина с глазами умудренной жизнью матроны, больше похожая на мать Зорина, чем на жену. Крупным чертам не хватало места на кукольно-круглом лице. Контраст между супругами ошеломляющий.

- Мы знакомы, - я впервые за вечер улыбнулся, протягивая Зорину руку и представляясь.

Он, его жена, Тоня и Мешков в немом изумлении уставились на меня.

- Простите, не припомню, чтобы встречал Вас раньше, - нахмурился Зорин.

- Мы не встречались, - ответил я, отодвигая стул для Тони, - я просто Вас знаю.

- Интересно! – воскликнул Мешков. – Надеюсь, вы это обсудите, господа.

И он поспешил к другим гостям.

Мы сели за стол. Тоня справа от меня, Зорины – слева. Какое-то время прошло в молчании. Я пялился в пустую тарелку, и Тоня, не дождавшись галантности, положила себе того и сего. Зорин ухаживал за супругой, она что-то щебетала высоким, плоским голосом.

- Откуда же Вы меня знаете? – не утерпел Зорин.

- От Марии Феоктистовой.

С правой стороны громкое молчание, с левой - звяканье вилки о тарелку. Я скосил глаза на Тоню, перехватил ее удивленно-вопросительный взгляд и едва заметно кивнул.

Зорин молчал, пока жена не вывела его из ступора. Я не слышал, что она спросила, и не понял, что он ответил. Вероятно, они общались так же, как мы с Тоней, обходясь не только без слов, но порой и не глядя друг на друга.

- Надо же, - выдохнул он, а затем принялся испускать такие выдохи очередями, будто отсмеиваясь или отплевываясь, - вы были знакомы?

- Разумеется, - хотел добавить: «если я знаю о Вас, мы были даже друзьями», но промолчал.

- Странно, что она рассказала обо мне – мы в последнее время не общались, - Зорин схватил вилку и стал крутить ее, как ударник палочку.

- Она и не рассказала, - отозвался я, с удовольствием накинувшись на салат.

Зорин все больше озадачивался. Я невольно упивался его мучением, а когда мне наскучило, бросил:

- Читал о Вас.

Почувствовав укоризненный взор Тони, я подмигнул ей и стал ждать продолжения. Определенно, вечер преподносит сюрпризы.

- Может, расскажете по порядку? – Зорин унизился до просьбы перед дрожащей тварью.

- Охотно, - я проявил милосердие, - но давайте сначала поужинаем, а потом я расскажу, хорошо? На пустой желудок речь не льется.

- Хорошо, - смиренно скривился он, и мы стали молча есть.

История, которую я вовсе не собирался поведать ему целиком, произошла пять лет назад, когда я трудился простым клерком и не был женат, а Мешков еще не выкупил свою долю предприятия, и никакие спецы по оптике нам не требовались. Той весной у меня возникло чувство, что я стою на пороге новой жизни. При тогдашнем раскладе и перспективах обозримого будущего, взяться ей было неоткуда. И я решил отыскать ее сам.

В городе мне никогда не нравилось: летом жарко и пыльно, зимой - грязный снег и скользкий асфальт, весной и осенью одиноко, хоть и людно. Поэтому я решил взять отпуск и поехать за город – приятель посоветовал снять комнату в доме неизвестной старушки, которая уже много лет живет одна и сдает комнаты всем желающим, что обеспечивает прибавку к скудной пенсии. Старушку звали Раиса Филипповна. Я позвонил ей накануне приезда. Она обещала подготовить комнату и ждать с утра.

Странно брать отпуск в середине марта. Подумав немного, я решил взять не полный, а двухнедельный, предвидя удушающие будни в летнем городе. Если двух недель не хватит – всегда можно исправить положение.

Собрав в большой рюкзак самое необходимое и оставив машину в гараже, я пешком приехал к Раисе Филипповне. За городом зимой дивно: снег искрился иссиня белым, я не заметил на нем ни песчинки, ни следа. Дороги заметены так, что от них остались узкие тоннели. Пока шел между двумя сугробами выше меня ростом, встретил двух человек. Тишина оглушала, воздух звенел морозом, лес чернел вдали, ветви поскрипывали на ветру.

Дом старушки далеко от дороги, и казалось, у нормального человека не хватит терпения добраться. За железным забором рычал премилый ротвейлер, с которым я надеялся найти общий язык, не понимая, зачем.

- Серьезный пес, - констатировал я, проходя в заметенный двор.

- Не бойтесь, - Раиса Филипповна закрывала за мной ворота, - он быстро к людям привыкает. Сами понимаете, страшновато одной, в глуши. Теперь не верится, что когда-то здесь было много народу. Муж с сыновьями строили.

Я хотел спросить, где они теперь, но не решился. Дом двухэтажный, но вовсе не выглядит хоромами. С виду крепкий, уютный, но не роскошный. Внутреннее убранство и вовсе убогое. Ремонт не делали лет тридцать, однако все презентабельно благодаря аккуратности хозяйки. Мебель старая, темно-коричневых тонов, полированная, тяжеловесная; на стенах ковры, на комодах и тумбочках вязанные ослепительно белые салфетки. Цветов мало, и те чуть живы, хотя и не желто-сухие.

При первом осмотре дом показался ужасно запутанным, но меня спасли, поселив на втором этаже. Там всего четыре комнаты, не перетекающие одна в другую постылой анфиладой, а у каждой своя дверь, общий холл. Две против двух – не заплутаешь.

- Три спальни и гостиная, - проинформировала хозяйка, - там вряд ли будет удобно, обычно никто не заселяется. В самой дальней живет девушка, но ее не видно и не слышно. Остальные две свободны, выбирайте.

К сожалению, обе комнаты оказались тесными. Первая - узкая и длинная, можно сказать, спартанская: кроме стола, кровати и шкафа там ничего не было. Вторая почти полностью занята большой кроватью и комодом. Я выбрал первую из-за привычки расхаживать по комнате, хотя и там не разгуляешься.

Раиса Филипповна предложила чая, и я не отказался после долгой и нудной дороги в одиночестве.

- Вы, наверное, замерзли, - предположила она, - агония зимы уж больно сурова.

- Да, иначе и не скажешь. Особенно когда привыкаешь ездить в машине.

- Вы могли бы привезти ее сюда, у меня гараж. Пустой.

- Не знал, - растерялся я, - да и зачем? Еще увязнешь где-нибудь…

- Это бывает. У нас редко чистят, а если и чистят, то такие сугробы по бокам нагребают – не пройти, не проехать. Соседка ездит на маленькой машиненке – ей с утра на работу, а Григорич нагреб, ее и завалило. Она ко мне за лопатой - откопай себя сам! Да еще ребеночка в садик отвезти. Во, какие теперь женщины – все сама, все одна! Таким и мужики не нужны.

Я промолчал, решив не принимать на свой счет. Непривычно в будний день, с самого утра быть не на работе, а сидеть в чистой, просторной кухне, пить горячий, крепкий чай и видеть из окна не грязно-бурую полосу дороги с колеями от колес и вереницу машин, а чистый заснеженный дворик. Утро солнечное и, если бы не жгучий мороз, очень приятное. Зимняя сказка ушедшего детства.

Первый день я провел, читая в новой комнате. Ноутбук взял, но модем оставил дома - устал от интернета на работе. На крайний случай есть мобильник. Свобода и безделье, столь вожделенные и ожидаемые, свалились таким богатством, что первое время я не знал, как с ним поступить. Я ходил по тесной комнате, полушепотом разговаривая с собой, думая мысли, которые давно хотел передумать, но не хватало времени, а теперь, когда его было в изобилии, мысль не выстраивалась в четкую линию и рвалась на куски. Я испугался, что окончательно отупел или стал думать рекламными слоганами.

Часа в три Раиса Филипповна постучала ко мне и пригласила пообедать.

- Обычно мы обедаем в три, но можете есть в любое время, у себя или на кухне – как удобно, - она стояла на пороге, чистенькая, сухонькая, очень маленькая, с аккуратной прической, в темно-синей юбке и зеленой вязаной кофте.

Я признался, что голода не ощущаю, но решил составить компанию хозяйке.

Мы спустились на кухню. За столом сидела коротко стриженная, очень худая девушка, которая назвалась Машей. За обедом говорила мало, ела еще меньше, и я почти не замечал ее. Раиса Филипповна рассказывала обо всем на свете, я слушал в пол-уха, думая о своем. Обед оказался таким непривычно обильным, что я еле дополз до комнаты. Давно не ел первое и второе сразу. Все очень вкусно, натурально, питательно и тоже напоминает детство - только тогда и питаешься нормально.

На следующий день, продрав глаза в одиннадцать, я позавтракал чаем с бутербродами и пошел прогуляться. Все-таки интересно, где доведется жить две недели. На улице стремительно теплело: буквально вчера от мороза сводило скулы, а сейчас снег течет с крыш, и солнце припекает так, что в пуховике жарко.

Поднимаясь в свою комнату, я встретил Машу на лестнице. Поздоровались и разошлись. Интересно, почему она здесь? Неужто кто-то кроме меня решил так же провести отпуск? Она, вероятно, не учится и не работает, если постоянно дома, вряд ли иногородняя – тогда уж в столицу ехать, а не в такую глухомань. В общем, поразмышляв о ней пару секунд, я выбросил эти мысли из головы и уселся в кресло с книгой. Как давно мечтал об этом! Тишина! Покой! Никуда не бежать! Никуда не спешить, ни о чем постороннем не думать, никакого интернета! Даже телефон отключил.

За обедом Раиса развлекала нас содержанием газетных статей, в правдивость которых свято верила, и пересказами телесериалов. Я, будучи ярым противником телевизора, предложил дамам посмотреть «нормальное» кино, коих в ноутбуке целую полно. Раиса Филипповна недоверчиво отмахнулась, а Маша не отказалась и спросила, какие фильмы есть. Я припомнил несколько, и она заинтересовалась.

- Ну, это вы уж сами, у меня без того пять сериалов, а еще и почитать хочется, и по хозяйству надо хлопотать, - улыбнулась Раиса Филипповна.

- Тогда стукни, как соберешься смотреть, - бросила Маша.

Меня царапнуло, что она обратилась ко мне на «ты», но я не стал придираться.

Часов около восьми я постучал к ней. Ее комната, пожалуй, не больше моей, но если моя длинная и узкая, то ее – абсолютно квадратная, и почти все пространство заняла двуспальная кровать, уткнувшаяся в комод, а у левой стены притаился шкаф.

- Наверное, у меня удобнее будет, - предположил я.

- Ладно, - она протиснулась между кроватью и комодом и последовала за мной.

Пока я копался в ноуте, Маша разглядывала «мою» комнату, спрашивала, что читаю, надолго ли приехал, чем занимаюсь. Моя дневная колючесть пропала, и я спокойно отвечал на вопросы. Она задавала их так просто и почти по-детски, что мне расхотелось даже мысленно ругать ее за чрезмерное любопытство и невоспитанность.

- А ты? – в свою очередь спросил я.

- А что я? Я тунеядец. Тоже люблю посидеть в тишине, почитать хорошую книгу и посмотреть нудный фильм с плохим концом.

- Но чем-то ты ведь платишь за комнату, - я подкапывался к роду деятельности, которая меня уже не слишком интересовала.

- У меня хорошие покровители.

- Почему же ты не с ними живешь?

- Надоели.

Коротко и ясно, что тут скажешь…

- А не урежут тебя в средствах, не обидятся?

- Не думаю.

Я внимательно посмотрел на нее. Она стояла у окна в полупрофиль ко мне.

- А училась где-нибудь?

- На русской филологии. И даже учительствовала.

Я недоверчиво охнул. Она промолчала, так и не повернувшись в мою сторону.

Смотрели «Куджо», которого я скачал еще летом. Маша читала книгу и сказала, что фильм неплох – для фильма.

- Ясно, книга всегда лучше.

- Не всегда. «Бриджит Джонс» мне больше в фильме понравилась, книга тупая и скучная.

- Неужто филологи читают «Бриджит Джонс»? – усмехнулся я.

- В оригинале - читают.

Я что-то изобразил на лице мимическими мышцами, но и это осталось без внимания.

- А смотрят в оригинале? У меня есть несколько фильмов без перевода, - наконец сказал я.

- С удовольствием посмотрела бы. Что есть?

- «Святые из трущоб», «Экзорцист», «Карты, деньги, два стола» и… секундочку… «Двадцать один грамм».

- Своеобразный набор. Но от последнего я бы не отказалась. Давай как-нибудь инглиш подтянем.

- Давай. Если мне взбредет в голову посмотреть что-то среди дня, тебя можно беспокоить?

- Можно.

Я мог бы оставить ей ноут, пока сам читаю, и пусть себе смотрит, но передумал. Я ведь ее знать не знаю...

Однако с каждым днем узнавал все лучше. Мы не только смотрели вместе фильмы, но и находили много интересных тем для разговора. Маша знала кучу историй, видимо, почерпнутых из книг, но, что более ценно, она была прекрасным слушателем, а такое качество я встречал редко. Мне нравилось делиться с ней мыслями и рассуждениями, ход которых у многих вызывал зевоту уже на второй минуте. Ее жизнь оставалась для меня столь же туманной, как в первый день знакомства, но могу сказать точно: избалованности или ветрености я не замечал. Напротив, она была квинтэссенцией такой серьезности, что даже рассказанные ею анекдоты наполнялись двадцатью смыслами и дышали подтекстом.

Однажды днем, когда я сидел на полу, уткнувшись в монитор, а Маша стояла у окна, привалившись плечом к стене и сцепив руки за спиной, я задал дурацкий

вопрос: о чем думаешь? Признаться, сам ненавидел такие вопросы, потому что постоянно о чем-то думал, но не умел выразить кратким предложением цепь мыслей в конкретный момент. И все же, сначала спросил, а затем подумал.

- Такое чувство, что стою на пороге новой жизни, - отозвалась она, не поворачиваясь, - как семь лет назад. Я заканчивала школу и не знала, куда идти и чего хочу. Был январь. С одной стороны, жаль расставаться со многим: с учителями, с жизнью школьницы. Но с другой, мучительно хотелось перемен. Выкинула хлам, который напоминал о прошлом. Хотелось новизны и свободы, пространства для новых впечатлений. И новая жизнь началась: я поступила в институт, встретила большую любовь. Конечно, я не думала об этом, стоя у окна тогда. Я просто смотрела на заснеженную улицу, на серый день… Знаешь, бывает в конце января чувство, что пахнет весной? Хотя впереди февраль и непонятный март. И вот я стояла, грустная, противоречивая, задумчивая, глядя на этот январь из окна своей одинокой закрытой комнаты, в которой не было ни стерео, ни компьютера, и это казалось вполне нормальным. Была тишина, и я отчетливо слышала шаги новой жизни. Мне не хотелось, чтобы она скорее началась, – хотелось ухватить само чувство, присмотреться к нему, потрогать, подержать в руках… написала стишок, выразила ощущения. Это было и концом, и началом. Концом потому, что я довела чувство до записи, а началом потому, что запись стала поэзией. После восьми блокнотов это стихотворение было продуманным, выстраданным, но спокойным.

После окончания института жизнь для Маши изменилась. Но все прошло мимо сердца, она не успела ни то что ухватить, но приглядеться к этому ощущению. Да, знала, что институт в июле закончится, но некогда было смаковать эти чувства: умерла бабушка, потом пришлось отбросить грусть и взяться за диплом, затем опять институт, госы… все бегом и кувырком. Когда момент настал, Маша была измочалена и думала совершенно о другом. А так хотелось, чтобы и события и чувства совпали, оставив время на осознание, чтоб успеть приготовиться, посмаковать!

- А сейчас дежа вю?

- Пожалуй. Сейчас как тогда. Только комната чужая, окно другое, да и я уже не та. Новая жизнь, идет вовсю, а до сердца не доходит! И вдруг… чувство. Я на пороге великих свершений. Мучительно захотелось сжечь старые дневники, удалить с компа старые рассказы и стихи, фотографии людей, которые причинили мне боль или которых не хочу вспоминать. Надоело жить среди хлама, задыхаюсь, тесно и душно здесь! Надоело за все цепляться! За семь лет столько всего случилось! Целый ты случился. Это прекрасно, но устаешь от себя. Хочется измениться, стать другим…

- Если ощущение появилось, то и перемены не за горами. Ты, наверное, сама так считаешь или уже творишь их.

- Хочешь сказать, затем и приехала сюда? – я почувствовал на себе ее взгляд.

- А зачем же ты приехала?

Она промолчала и опять уставилась в окно. Я не сказал, что в ее монологе отразились мои мысли и чувства, – приберег для себя, как заветную теплоту на сердце. Приятно ощущать незримую, негласную близость.

Было пасмурно. Плюсовая температура держалась несколько дней, потому снег таял, оставляя черные проплешины на некогда белом фоне. Угрюмо-серое небо

металлически контрастировало даже с этим изъеденным, набрякшим от влаги снегом. Весело пел южный ветер, лелея аромат весны в прозрачных крыльях.

- Может, прогуляемся? Погода хорошая, тебе полезно подышать, - предложил я, закрывая ноут.

- Почему это мне полезно? – Маша подозрительно прищурилась.

- Потому что бледная ты, как моль в обмороке, - я проигнорировал ее привычку цепляться к каждому слову, хотя порой она раздражала, но я объяснял ее длительным изучением словесности. Все же, общаясь с ней, я не чувствовал напряжения от необходимости следить за словами. Раз уж на то пошло, за речью надо следить всегда, и это не пустой официоз, а искренняя вежливость, которая, по словам Бетховена, стоит дешево, но ценится дорого.

- Я бы с удовольствием прогулялась, - ответила Маша, отходя от окна, - погода и впрямь отличная. Пойдем?

- Конечно. После обеда уже никуда не хочется.

Она рассмеялась и ушла к себе. Я спустился на первый этаж. Вскоре появилась и Маша. Мы надели пуховики и вышли на улицу. Места здешние моя спутница знала куда лучше меня, хотя я и тратил по два часа в день на их изучение. Из этого я заключил, что Маша либо всю жизнь провела здесь, либо живет у Раисы Филипповны давно. Маршрут я доверил ей и за разговором совершенно не замечал, куда мы шли. Людей встретили от силы двух, и мне казалось, Маша избегала мест, где их водится больше.

- К тебе никто не приходит? – спросил я, когда мы аккуратно обходили лужи на дороге.

- Кто, например?

- Ну, друзья, родители… разве у тебя никого нет?

- Есть. Но сюда никто не приходит, - ее тон дал понять, что обсуждать эту тему она не желает.

- А мне стоило немалого труда отбиться от визитеров, - я пытался избежать неловкой паузы, - трудно было объяснить, почему собираюсь проводить отпуск в одиночестве в забытом Богом месте, да еще в марте.

- А зачем кому-то что-то объяснять?

- Ну нельзя же просто уйти, не сказав ни слова! – усмехнулся я.

- Почему? Я так и сделала. Порой легче выпросить прощение, чем разрешение.

- Взбалмошная ты.

- Просто жизнь коротка, я итак проводила много времени, ублажая чужие чувства, а о себе мало думала. Если тебе что-то по-настоящему нужно – иди и возьми.

- Может и так. Но нельзя же плевать на близких!

- Плевать не надо. Важно знать меру и четко понимать, о ком на самом деле думаешь. У меня есть двоюродная сестра – сейчас ей шестнадцать. Она как-то выдала, что по ее мнению, начать заниматься сексом, не сказав об этом предкам, будет нехорошо.

Я расхохотался.

- Ну да. Если она залетит или заболеет – виноваты будут они!

- О чем и речь. Когда тебе по-настоящему что-то нужно, спрашивать не будешь, просто сделаешь, как хочешь, и все. Не подумай, что я соплячек призываю к распущенности и непослушанию. Думаю, ты понял, что я хотела сказать.

- Понял, конечно. Но сестра у тебя забавная! Представляю реакцию ее родителей, если бы она у них на такое разрешение испросила!

- А я не представляю. Любой нормальный родитель к таким запросам, вероятно, не готов.

- Суровая правда. Есть вещи, о которых родители узнают последними.

- Некоторым везет с детьми.

- Бывает. И все-таки родительская участь видится мне ужасно печальной. Можно сказать, распускаешь собственную жизнь до нитки, чтобы связать ее для нового человека, а он вырастает настолько сложным и непостижимым, что не можешь до него дотянуться, не можешь ничего о нем понять, а душа болит, и любовь к нему остается самой сильной на свете. Ведь любовь даже самых распрекрасных детей к родителям никогда не будет такой. А в какой-то момент поймешь, что знаешь о своем чаде в разы меньше Васи Пупкина – чадо нервы твои бережет, чтоб жил спокойно. Наверное, это очень грустно.

- Надо же! Так все расписал, будто уже отец со стажем!

- Нет, я еще даже не женат. Просто из наблюдений.

- Хорошим папой будешь. И маме твоей повезло, - никакого сарказма в ее голосе не было, что даже удивило немного, - а моим страшно не повезло. Они уж оставили попытки понять меня, но любить не перестали.

- Зачем же добавляешь им боли? Неужели сложно позвонить и сказать, где ты? Просто сказать, все в порядке, жива – пару слов, и они успокоятся.

Маша вздохнула.

- Они знают, что жива, но не знают, где. Никто не знает.

- Ты так хотела?

- Да. Сначала хотела тебе наврать – сочинить историю, что приехала из другого города, ищу работу и перебиваюсь с горячей кружки «Магги» на бэпэшку, но передумала.

- Да кому я тебя выдам! – рассмеялся я.

- Дело не в этом. Я просто люблю сочинять, но пожить в придуманном так редко удавалось! Вот и возник соблазн поселиться в собственной сказке. Но почему-то стало лень, да и Раиса при желании разоблачит.

На второй неделе моего пребывания у Раисы Филипповны температура доползла до семи тепла, и хозяйка решила устроить субботник. Мы с Машей охотно помогли ей сжечь завалявшийся под снегом мусор. Казалось бы, откуда взяться мусору на частной территории чистоплотной старушки? Его и не было. Мусором назывались «лишние» ветки и травинки. Потом оказалось, что у Раисы Филипповны есть еще одна непонятная нам с Машей то ли стариковская, то ли советская причуда: она не выбрасывала бумажный мусор, а складывала его под ванну или в сарай. По весне горы картонных коробок и бумажных упаковок выгребались из мест зимнего заключения и сжигались за сараем. Смысла сего мероприятия мы так и не уловили и, похоже, Раиса Филипповна сама не очень понимала, зачем усложняет себе жизнь, хоть и пыталась нам что-то втолковать. Мы старательно выволакивали

из сарая все, предназначенное для сожжения. С костром возился я, поэтому на какое-то время отключился от происходящего вокруг. Маша появилась с большой коробкой из-под обуви.

- Это мой хлам, - пояснила она, - Раиса ушла сериал смотреть.

Я вскинул на нее страшный взгляд: и ты макулатуру собираешь? Она поняла без слов и рассмеялась:

- Можно и так сказать. Помнишь мой спич про обновление?

Я кивнул, придерживая деревяшкой разлетающиеся листы и золу.

- А я повсюду: в стихах, дневниках, на фотографиях, в памяти друзей, которые не захотят воспринимать меня иной. Я изменилась. И никакого умиления прошлая личность не вызывает. Лелеять воспоминания надоело. Такое чувство, что я хороню себя в них и не даю будущему войти. Марлевую повязку надо раз в три часа проглаживать утюгом, иначе она превратится в скопище бактерий, и носить ее станет опасно.

Она открыла крышку, и моему взору предстали две стопы тетрадей. Маша схватила верхнюю и бросила в огонь.

- Точно жалеть не будешь? – нахмурился я.

- Точно.

Она ушла в сарай и вернулась со стулом, уселась возле костра, взяв на себя сожжение собственного прошлого. А я стоял у нее над душой и смотрел.

- Может, хочешь побыть одна? – вдруг осенило меня.

- Да нет… это неважно. Присядь, если хочешь, а то как-то нехорошо, я сижу, а ты стоишь.

Не дожидаясь ответа, она вскочила и скрылась в сарае, выволакивая еще один стул. Я не без удовольствия присел у костра и отбросил деревяшку-мешалку.

- Будто все эти годы у меня была низкая энергетика, и я лишь пассивно воспринимала жизнь, не принимая ни в чем участия. Теперь, когда личность худо-бедно сложилась, я четко осознала все этапы и поняла, что дало мне то или иное событие, не хочу быть наблюдателем. Хочу новизны. Представить не могу, какой она будет, – тем интересней. Но я должна чувствовать, что открыта для нее. Это не очередная фантазия «проживи жизнь на бумаге - и нечего бояться». Это не трусость – немногие заглядывают так глубоко в себя, как я, пока пишу. Теперь переходим к практике.

Она встала и прошлась по поляне, нетерпеливо ожидая, пока сгорит очередная тетрадка. Мы сожгли не меньше десятка. Я тоже иногда вставал, топтался по двору, думал о своем. Нам было комфортно и говорить, и молчать вместе. В какой-то момент я так погрузился в свои мысли, что не сразу заметил, как Маша рухнула на стул и начала сползать с него, заваливаясь на левую сторону. Я подскочил к ней и увидел, что она ужасно побледнела, глаза закатились, и вся она как будто обмякла. Я не на шутку перепугался, подхватил ее на руки и отнес в дом, еле дооравшись до Раисы Филипповны, которая всем существом окунулась в грохочущий телевизор. Я положил Машу на диван в гостиной, потому как нести ее наверх показалось нецелесообразным: оставить одну страшно, а проверять каждые пять минут, не пришла ли она в себя, - неудобно. Не преувеличу, если скажу, что был в панике и не знал, что думать. Но сильнее удивило другое: Раиса Филипповна, казалось, ничуть

не удивилась такому повороту. Я ожидал, что она разохается и разахается, будет верещать, кидаться из угла в угол и заламывать руки, но она только сказала:

- Я уж думала, все кончилось.

Фраза так ошеломила меня, что не сообразил спросить: что кончилось, что вообще происходит и что все это значит? Мы накрыли Машу пледом, Раиса дала ей понюхать нашатыря, но не подействовало. Потом она поднялась в Машину комнату и принесла какие-то пузырьки.

- Ты иди, голубчик, я дальше сама справлюсь, - вдруг она вспомнила обо мне, а я все это время стоял, как истукан, и с интересом наблюдал за ее манипуляциями.

- Может, врача вызвать?

- Нет, это уже бесполезно. Я потом тебе все расскажу. Иди, мой хороший.

И я послушно ушел. Костер почти погас, рядом стояла открытая коробка с одной стопкой тетрадок и парой блокнотов. Минуты две я пялился на нее, не зная, что хотел высмотреть, потом взял одну тетрадь, открыл, полистал. Размашистый почерк с сильным наклоном, даты выделены маркером, каждый день расписан на несколько страниц. Понятно, почему тетрадей много. Знаю, нехорошо читать чужие дневники. Почерк при ближайшем рассмотрении оказался неразборчивым, нужно привыкнуть и вчитываться в более спокойной обстановке. Хотя куда уж спокойней? Сиди и читай. Но я не мог.

Опять поплелся в дом, узнать, не вернулось ли к Маше сознание. Оказалось, что вернулось, но она еще слишком слаба, поэтому Раиса попросила меня проводить Машу наверх.

- Пожалуйста, дожги все, что осталось, ладно? – одними губами сказала она, когда мы добрели до комнаты.

- Дожгу, не беспокойся, отдыхай, - я накрыл ее пледом и хотел уже выйти в коридор.

- Нет, это очень важно, - остановила она меня, - если несложно, дожги сегодня, хорошо? Не хочу, чтобы что-то осталось…

Она замолчала. Молчал и я, не зная, как реагировать.

- Хорошо, прямо сейчас все сожгу, костер еще не погас. Ты, главное, не волнуйся, лежи.

Я вышел во двор и разворошил потухший костер. Окно Машиной комнаты выходит на лужайку. Вскоре в нем появилась и сама потерпевшая. Я бросил пару тетрадок в огонь, поймав ее взгляд, а когда она исчезла, схватил толстый квадратный блокнот и сунул его в задний карман джинсов. Я ненавидел себя в тот момент, не понимал, зачем мне нужны чужие тайны, что хочу найти в этих дневниках. Я пообещал себе, что обязательно сожгу все. Но немного позже. Посмотрев еще раз на окно и убедившись, что Маша задернула шторы и не собирается меня контролировать, я сгреб коробку с оставшимися тетрадками и притащил к себе.

Записи в блокноте начинались с середины мая 2000го. Описания длинные и приправлены километражем диалогов. Такие записи можно читать как роман. Я увлекся этим забытым временем, этой пьяной весной, атмосферой перемен. Выпускные экзамены, окончание школы, неясная дорога впереди… когда-то и я через такое прошел, но либо совсем по-другому, либо многое забыл. И в то же время что-то неуловимо родственное отзывалось в душе, что-то общее для нас обоих. 23го

мая 2000го на страницах замаячили какие-то братья-рокеры, к которым Машу привела подруга. День расписан подробнейшим образом - с разговорами и Машиными мыслями об этих ребятах. Здесь было все: книги, которые она читала, люди, с которыми общалась, проблемы в семье, болезнь мамы, экзаменационные нервы, раздумья о будущем, легкое сожаление о прошлом и такое наслаждение настоящим, несмотря на все его сложности и стрессы, которое только в семнадцать и возможно. Много восклицательных знаков, многоточий, прерывающихся мыслей. Когда блокнот закончился, я открыл коробку и схватил первую попавшуюся тетрадь. Она и оказалась продолжением:

«27 июля.

Катя попросила позвонить братьям и помирить их с ней, если вдруг они поссорились. Она в этом не уверенна, но ее озадачило, что никто из братьев ее с днем рождения не поздравил, хотя знали число и, якобы, ничего не забывали. Я долго собиралась с силами, весь день меня трясло и колотило, что я объяснила вступительной нервотрепкой и окончанием экзаменов, завтрашним собранием поступивших и прочей ерундой. Позвонила. Трубку взял Влад. Уж не помню, как начала этот тягостный разговор. Наверное, тонко намекнула, что Катя в замешательстве из-за их забывчивости. Влад удивился то ли замешательству, то ли забывчивости, но обещал перезвонить Кате и разобраться. Спросил, как у меня с поступлением. Я ответила, завтра будет видно. Заявил, что на филологических факультетах только учатся да спят, на большее сил не хватает. Я ко всему готова. Душа жаждет подвигов и новизны. Душа Влада, насколько я успела заметить, стремится к легкой и по возможности веселой студенческой жизни, а трудностями немало тяготится. Быть может, я ошибаюсь. В общем, вполне мило поболтали».

28го июля Маша поступила на филологический факультет. А дальше следовали полные безделья и детской радости летние дни, посиделки на крыше, гуляния по лесу. Ее подруга поступала на заочный, поэтому экзамены сдавала в августе и до 27го числа не знала результатов.

«31 августа.

День рождения Влада. Мы приглашены на пять вечера. Катя весь день искала подарок, а я подъехала к братьёвской остановке почти к половине пятого. Там и встретились. Открытку подписали в подъезде, диск «Рамштайна» уже упакован и перевязан бантиком.

Мы пришли без опозданий, в чем Катя ранее замечена не была. Сие проклятие распространялось и на меня, автоматически. Сама по себе я очень пунктуальна, смею надеяться. Катя обняла Влада, вручила ему диск, чего-то пожелала. Ну и я полезла обниматься, чтобы не чувствовать себя неловко, стоя в стороне, и всучила открытку. За столом уже сидели Локки, Егор и еще три парня, которых я раньше не видела. Мы выпили две бутылки белого вина, я ела только фрукты и печенье. Да, слава Богу, никаких салатов и не было, так что никто не обратил внимания на мой хреновый аппетит. Не то, что на молчание. Влад и Катя полемизировали за одним концом стола, а ребята читали книгу рекордов Гиннеса за другим и порой

зачитывали интересные отрывки. Я слушала «Тристанию», и она мне так нравилась, что больше ничего слушать не хотелось. Интеллектуальные трепы казались очень интересными, и я от души радовалась, что есть умные люди на свете, но музыкальные образы захватили меня куда больше, и хотелось спокойно предаться фантазии, чтоб никто не отвлекал. Наверное, это не очень прилично с моей стороны – непроизвольно абстрагироваться от внешнего, тем более на чужом празднике. Влад начал самобичеваться, углядев свою вину в моем молчании: мол, не умею развлекать гостей, не знаю, что делать, дабы всем было весело. Катя сказала, что я просто еще не освоилась, и тему замяли.

Домой приехали трезвые, как стекла, чуть позже десяти вечера. Катька сидела у меня еще два часа и пыталась вправить мне мозги, но ничего не получилось. Я не вижу в своем поведении большой трагедии и не хочу лицемерить или меняться искусственно. Если будет нужно – перемена произойдет сама собой. В конце концов, я никому свое общество не навязываю и если этих ребят чем-то не устраиваю – большой беды не будет, когда наше общение прекратится».

С первого сентября началась новая тетрадь, которую я без труда нашел, – в коробке все по порядку. Тетрадь – громко сказано. Верхняя часть большой канцелярской книги, криво обрезанная и приклеенная к картонке, изображающей обложку. На «форзаце» картинка, распечатанная на струйном принтере. Огонь, а на его фоне – хрупкая фигурка девочки.

«17 сентября.

Решили встретиться с Катей, т.к. из-за учебы стали реже видеться. Хотели залезть на крышу или сходить в лес. Главное, не сидеть дома, погода классная! Катька позвонила братьям и предложила прогуляться. Они согласились, и вскоре мы встретились в городе. Локки не было, только Влад и Егор. Я даже рада – меньше народу, больше кислороду. Пошли в парк. Катя с Егором иногда бегали наперегонки, а мы с Владом шли степенно и молча. Точнее, Влад бубнил себе под нос, как он не любит людей, как его все раздражает. Когда мне надоело это слушать (хотя отчасти я с ним согласна), посоветовала ему забить на всех и жить своей жизнью. Придя в парк, мы купили сухариков, которые ели на ходу. Было хорошо и весело, мы все время над чем-то смеялись, радовались теплому ясному дню. Я от души наслаждалась единственным выходным. Не хотелось думать, что завтра опять в институт.

Часов в шесть или в начале седьмого мы зашли к братьям, Егор спел новую песню под гитару – по-моему, она была о крестоносцах, только арабские мотивы в игре и пении мне не очень понравились. Потом Катя с Егором наперебой мучили гитару, а мы с Владом не могли вытащить их на прогулку. Лучше еще немного подышать, чем сидеть в четырех стенах, пока такой хороший день не закончился.

- Ну их, Маш, пойдем одни! – и Влад демонстративно направился к двери. Я последовала за ним, удивляясь нехарактерной для Катьки усидчивости. Видя наше рвение, гитаристы не выдержали и отлепились от насиженных мест.

В лес не пошли, а вновь прогулялись по городу. Часов в восемь, приметив свой автобус, мы с Катей уехали домой.

19 сент.

На первой паре ОБЖ в подземных лекториях. Когда спустилась и затерялась в знакомой толпе, меня кто-то окликнул. Влад сидел на корточках у соседнего лектория. Векторный анализ! Я приземлилась рядом. Поболтали чуток не пойми о чем».

С тех пор они виделись почти каждый вторник.

В ноябре умер Машин дедушка. Она не слишком подробно расписывала обстоятельства его смерти, но и то, что она зафиксировала, не вызвало у меня восторга: Машин отец нашел его в маленькой комнате без окон, лицом под кроватью. Вероятно, дед был пьян, упал или полез за чем-то под кровать, а потом не смог выбраться и задохнулся. Машин папа тяжело перенес это, да и вся семья была подавлена скоропостижностью смерти. Эти записи дались мне тяжело: в них чувствовалась Машина усталость от учебы, постоянно мелькал Влад, буквально каждый день изобиловал приступами самобичевания, боли, депрессии, а тут еще и дедушкина смерть. Но читать мне нравилось из-за атмосферы одиночества и потерянности, городской суеты и череды непонятных самой героине поступков. Например, ее визит в пустую квартиру деда, куда она никогда не стремилась при его жизни (по всему видно, дед едва ладил с остальной семьей). Я отчетливо представил себе промозглый ноябрьский вечер, безлюдные темные улицы, мелко моросящий дождь, когда Маша, никому ничего не сказав, вышла из дома и побрела, куда глаза глядели. Дойдя до злополучной квартиры, встретила там отца. В этом не было ничего драматического, хотя ситуация на редкость киношная. Но в кино ей придали бы нужную окраску. Здесь же оказалась только Маша и ее папа, который почему-то не удивился появлению дочери и попросил ее помочь вынести мусор.

«5 ноября.

Завтра похороны. Проснувшись в семь утра, я с трудом заставила себя встать и предложила маме помощь в готовке или еще хоть в чем-то, но мама сказала, что я буду только мешать, лучше пойти в институт. Если мне этого не хочется – дед ни при чем. И я пошла. Было даже приятно развеяться. Повидать ребят, которые ничего не подозревали и спокойно веселились, невольно веселя меня. Видела Влада. Он пришел в наш корпус сдавать зачет по физре, вместе с Локки. Сказал, чем больше народу пойдет с ним – тем лучше. Позвали и меня. Но препода не было, и ребята сразу ушли в свой корпус, а я к себе в аудиторию».

Когда тетрадь закончилась, я наткнулся на замыкающую картинку: человек неопределенного пола сидит на рельсах и внимательно смотрит на приближающийся поезд, пыхтящий паром и буквально дышащий огнем.

Новый год начался в тетради с «Королем и шутом». Многие мысли отмечены разноцветными маркерами. Перечитав их несколько раз, я удивился: зачем было раскрашивать такую черную меланхолию, о которой лучше забыть или вовсе не записывать? Проблемы в общении с людьми, их неприятие ее молчания и стеснительности, отстраненности, с которой она пыталась бороться, но ничего не получалось, и на каждой странице она ругала себя последними словами за такой

характер и несуразную личность. Ни разу не встретил прямого высказывания о ее чувствах к Владу, но не догадаться о них было невозможно.

«28 января.

Полдня собиралась с духом, чтобы позвонить Владу, спросить о папиной книге, которую Катька дала братьям. Папа требует ее назад, а Катя никак не заберет. Спросила, когда можно заехать. Влад ответил - хоть завтра, у студентов каникулы. Спросил, как сессия. У него пять экзаменов и семь зачетов, а у меня только два экзамена и десять зачетов. Он сдал с тройками, стипендии не будет.

29 янв.

10 утра, встречаемся с Катей на остановке, едем к братьям. Она всю дорогу рассказывает, что ей снился парень, в которого она была влюблена полгода назад. Вот опять вспомнился, и ей плохо. Мне тоже плохо, я же еду к Владу. Он встретил нас радушно, даже проснулся ради этого в девять. Дома никого не было, но поскольку подруге надо на работу к двенадцати, остаться мы не могли. Я наивно рассчитывала, что Влад предложит мне остаться, но, разумеется, ему такое в голову не пришло. Катька изъявила желание встретиться, поболтать. Влад смотрит на это благосклонно. Ему все равно – в их комнате каждый вечер тусуется человек семь. Я знала, что мне в этой компании делать нечего, опять буду молчать, но просто хотелось его видеть. Хоть изредка.

2 февраля.

Поехали к братьям, посидели в тепле и уюте. Насладилась созерцанием и слушаньем голоса любимого человека. Катя весь вечер ныла у меня на плече, что ей должен звонить Илья, что у нее болит голова, что надо бы поскорее домой. В автобусе продолжила излияния: учиться не нравится, работа – рутина, дома все тоже не пойми как, Илюха есть, а любви нет. Я почувствовала себя почти счастливой, потому что у меня все наоборот, хотя любовь односторонняя и безнадежная и приносит одни неврозы».

В конце марта закончилась и эта тетрадь. Откопав новую, я еле справился с первыми страницами: красные чернила так пропитали некачественную бумагу, что с обеих сторон трудно разобрать слова. Строчки расплывались, темнели общим красным фоном, да и почерк был на редкость корявым, будто Маша записывала на весу или лежа.

«6 апреля.

Не выдержав разлуки, звоню Владу, избрав предлогом кассету «Тристании» - давно хотела попросить. Он ответил, что в универе не бывает, т.к. взял академ из-за больного сердца. А я два месяца безуспешно высматривала его, ходила по корпусу, по остановкам, по лекториям. После нашего вымученного разговора позвонила Катя. Узнав, что я говорила с Владом, позвонила ему сама, и они решили продолжать общение, давно, мол, не встречались. Потом она перезвонила мне,

сказала, о каких книгах они говорили, о чем полемизировали. В очередной раз почувствовала себя дурой и ничтожеством.

1 мая.

Поехала с Катей к братьям по предварительной договоренности к двум часам. Они всей когортой увлеклись фехтованием и зовут Катю с собой. Естественно, она не останется в стороне. В таком случае их общение точно не накроется, и мне хоть что-то перепадет.

10 мая.

Гуляли с Катькой по лесу. Она долго и нудно уговаривала меня отметить бездник, пригласить, кого хочу из универа, своего прекрасного N, братьев. Я не хочу напрягаться, ненавижу быть в центре внимания, Влад и прекрасный N – одно лицо, о чем Катя до сих пор не знает и слава Богу, да и вообще, не умею я развлекать публику. Вот придут они ко мне – и что? Как себя вести, что делать?

- Ты из всего делаешь проблему! – возмутилась подруга. – Мы что, общаться не умеем? Что тебе надо делать? Просто пригласи и все. Ты, может быть, немного расслабишься на своей территории, да еще после легкого вина. Уверена, мама не откажется помочь в приготовлении. Что ты в самом деле?! Тебе это необходимо!

Может, она и права. Во всяком случае, сомнения появились. Придя домой и проревевшись под «Роксэт», выползла на кухню и спросила маму, что если я приглашу ребят в воскресенье. Она ответила: прекрасная идея, все сделаем в лучшем виде.

15 мая.

Ушла из института после первой пары, отпросившись с семинара по современному русскому языку. Приехав домой, полдня маялась бездельем. В четыре собралась и пошла к Кате на работу, надев широченную мамину юбку, гриндерсы и клетчатую рубаху. Слава Богу, Катя одна - ее классически настроенная мама не выдержала бы такого зрелища. Я извинилась перед подругой за то, что бычилась на ее желание сотворить со мной добро. Она тоже извинилась, сказав, что перегнула палку. Мы официально и не ссорились, но не у меня одной остался на душе осадок после разговора в лесу. Наверное, только теперь мы стали настоящими друзьями. Вернувшись домой, звоню Владу, приглашаю братьев и Локки на день рождения в воскресенье, - Катька за ними заедет.

20 мая.

Весь день не находила себе места, что старалась спрятать от мамы, а это нелегко. Убралась в комнате, выволокла большой стол, накрыла его. Сестра даже пирог нам испекла. День солнечный и теплый, комната просто сияет. Облачилась в «Арийскую» футболку и в короткие штанишки, не придумав ничего лучше. Гости опоздали на полчаса, и я уже начала звонить Кате, волнуясь, что они зафехтовались, обо мне забыли или вообще послали на фиг. Я ко всему готова и ничему не удивлюсь, но они приехали. Привезли с собой лишнего парня, с которым фехтуются и которого некуда деть. Зовут его Копфшуссом. Он сочинил мне стихи

в подарок, Влад написал их своим разборчивым, красивым почерком в купленную Катей открытку, служившую сборником коллективных подписей. От себя Катя тоже подписала открытку. Егор спел мне «Хэппи Бёздей ту ю» под гитару, и мы уселись за стол. Я не могла есть и пила только кока-колу. Ребята этого будто не замечали и чувствовали себя непринужденно. Когда первая бутылка вина кончилась, Гор попросил еще, т.к. ничего не почувствовал. Мы включили диск «Арии» и подпевали во всю мощь, хотя дома была мама. Влад буквально осыпал меня комплиментами, особенно нахваливал голос. Произнося тост, пожелал побольше красоты, которая, учитывая мой нынешний вид, явно мне не грозила.

- Ну почему же, почему же?...

Когда надоело сидеть в комнате, пошли в лес. Я - под руку с Владом, потому что так велел Копфшусс. Не знаю, что взбрело ему в голову, - вероятно, мы мешали ему обсуждать важные дела с Катей и Локки (Егор уехал). Ребята надыбали мечей из бревен и начали файтиться, а мы с Владом пели. Это было здорово! Закат, лес, весна и мы… что еще надо для счастья! Правда, порой Копфшусс норовил испортить мне настроение, спрашивая, почему я не фехтуюсь со всеми нормальными людьми, но за меня вступалась Катя: «Она у нас менестрель – вокалистка, пианистка и просто красавица!» Он даже отправил нас с Владом подальше в лес - искать и мне соответствующий меч. Мы, конечно, поискали для порядка и даже нашли какое-то бревно, Влад дотащил его до поляны, где файтился честной народ, бросил Копфу и сам отказался принимать участие в безобразиях, предпочтя песнопения. Мы немного отошли от поля битвы и стали петь. И казалось, шедеврально у нас получается! Как хотелось, чтобы это мгновение никогда не кончалось! Наверное, за всю мою жизнь не было дня счастливее».

Большая черная тетрадь завершилась в августе. Новая порадовала еще большим креативом: записи на неразлинованных листах блокнота, который, видимо, приказал долго жить, а потому Маша вклеила их в исписанную тетрадь. Надпись на обложке: «Мария Феоктистова, группа 3Д, литературный анализ». Из-за наклеенных листов выглядывали заметки на полях, красные чернила с поправками, восклицательные знаки, оценки. Да, такому человеку ничего не страшно!

«31 августа.

День рождения Влада. Он позвонил и сказал, что хочет видеть меня у себя, можно прямо сейчас, все уже собрались. Я знала, он звонит по настоянию Кати, которой звякнул первой и надеялся, что она мне все передаст. Но она велела пригласить меня лично. Жаль, я об этом узнала, хотя и так понятно, что ему до меня дела нет.

Мы с Катей приехали чуть раньше трех. В комнате полно народу: явно не один фехтовальный клуб, возможно, школьные друзья Егора и институтские приятели Влада и Локки. Поскольку Катя пробыла две недели на юге и соскучилась, визгу было на всю Ивановскую, когда она со всеми обнималась. Я порой завидовала ей: так легко и просто обниматься с едва знакомыми людьми без причины, балагурить в компании, говорить обо всем на свете, не париться ни по какому поводу, не задумываясь брать инициативу на себя. Мне это настолько чуждо, что я, как обычно, стояла в сторонке и делала вид, что интересуюсь узором на обоях.

Его замечают больше, чем людей вроде меня, которых друзья из милости таскают за собой, относятся как к предмету мебели или порой пытаются заставить хоть что-нибудь изречь.

Влад выуживал из мешочка подарки. Катька подарила можжевеловые четки и быстро переключилась на приветствия с другими ребятами. Я же сложила в зеленый мешочек берестяную подкову на счастье, записную книжку с изображением монет на твердой обложке и уже не в качестве подарка всучила Владу распечатки про ацтеков, информацию о которых он искал. Тут меня и удостоили долгого дружеского объятия. Даже слишком долгого. Мне безумно приятно, что подарки пришлись по душе. Почему-то хотелось, чтобы у него осталось что-то на память обо мне. Открытку купила тоже я, но так мучительно парилась, что там написать, и, в конце концов, доверила Кате, а от себя добавила два слова: «счастья тебе».

Дальше вклеены полоски распечаток. Наверное, блокнот совсем порвался, и Маша стала печатать дневник, что, разумеется, ускорило процесс восприятия.

«10 сент.

Настя, Влад и Оля догнали меня, когда я выходила из универа. Поговорили о дне рождения Локки. Никто так и не посоветовал, что ему дарить, - надеюсь, Катя купит что-нибудь от нас обеих. Настя и Оля пошли своей дорогой, Влад удрал вперед, а потом обернулся, заметил, что я плетусь следом, подождал и какое-то время мы шли вместе, молча. Пересекли дорогу и разошлись в разные стороны. Казалось бы, чего проще – самой предложить пройтись вместе, непринужденно поболтать о чем-нибудь – да хоть об учебе! Почему все, что так легко дается другим, для меня непосильно, как наступить на собственное горло?

15 сент.

День рождения Локки. Собираемся на остановке, идем в лес. Огромная компания. Посидели, попели. Я сначала не вклинивалась, изнывая от песнопений Оли, которая доставляла двойное удовольствие отсутствием не только слуха, но и певческого голоса.

- А где Машка? – прорезалось восклицание Влада.

Я подошла к ним, встав с насиженного бревна.

- Мне спокойней, когда ты рядом, я меньше фальшивлю, - улыбнулся он.

Я обняла его ледяной рукой и пообещала быть рядом. Когда поёшь – меньше слышишь других, и в том невыразимый плюс. По-моему, я забила конкуренток, и под конец пели только мы с Владом. Когда все устали от наших завываний, мы поговорили – наверное, впервые без посторонних, если не считать двухминутные встречи у лекториев год назад. Обещала дать ему почитать свои стихи.

18 сент.

Поскольку Влада все это время не видела, а передавать Егору дискету со стихами не хотелось, я отдала ее Кате. Она передаст, когда поедет на тренировку.

21 сент.

Прибыл ответ на моей дискете. Катя еще в среду сказала мне по телефону, что стихи понравились Владу настолько, что он сам решил перестать писать. Я тихо таяла от счастья, слушая ее сообщения, хотя подобная реакция совершенно непонятна и Катины наезды на мою харизматичную, всех уничтожающую личность немного обескуражили и даже обидели, но я была слишком занята своим счастьем, чтобы циклиться на этом. И вот Влад написал мне, так сказать, критику. Тоже в стихах. Но моих она не касалась - он писал обо мне, о том, что увидел через эти стихи. Мое влюбленное сознание было не готово к подобной информации. Весь вечер я ревела и сходила с ума, стараясь делать это потише, дабы не тревожить домашних. Что дальше? Реагировать, и если да – как? Ждет ли он чего-нибудь? Не могу же я просто промолчать, когда такое пишут? Или могу, но что тогда со мной будет?

28 сент.

Наконец-то сестра вернулась их командировки! Я измучилась, толком не с кем поговорить, хотя и рассказала все Кате, но она не знала, как мне помочь и надо ли. А сестра в этом плане ближе. Я рассказала, что случилось за прошедшую неделю, подсунула ей Владову «критику».

- Да это ж почти признание в любви! – благоговейно сказала она, дочитав. - Ты что-нибудь ответишь?

- Думаешь, стоит?

- Не знаю. Но тяжко оставаться в неведении, разве нет?

- Еще как! У меня есть план ответа, почитай.

Она прочла и посоветовала вычеркнуть некоторые «спасибы», объяснив это тем, что благодарить мне Влада не за что и ничем я ему не обязана – что хотел, то и написал. Да, пожалуй, верно. Что ж у меня за манера вечно уничижаться?!

- Как решишь, так и правильно, - заключила сестра, - слишком не усердствуй с раздумьями, а то хуже получится. Сердце всегда правильно говорит.

Всегда да не всегда. Смотря когда слушать. Но она права: сил больше нет. Она сказала, я сейчас очень красивая. Значит, надо идти, пока не пострашнела.

29 сент.

Уже с утра я знала, что решусь. Из института к нему два шага. Скинула на дискету ответ. Еле пережила день в универе, чуть не перессорилась с ребятами. Мысли далеко от учебы, хотя старалась сосредоточиться и не думать о предстоящем. Ровно в четыре направилась к дому братьев, надеясь хоть кого-нибудь застать.

Дверь открыл Влад. В прихожей было темно, и он не потрудился включить свет. Пожалуй, так даже лучше, сегодня я совершенно в своей красоте не уверена: волосы растрепало ветром, наверное, от смущения и быстрой ходьбы я красная, как пожарная машина, дыханье сбилось, свободная длинная куртка цвета хаки и папины вельветовые штаны не придавали женственности. Влад так удивился моему появлению, что не сообразил, как начать разговор. У меня же был предлог, так бы я ни за что не пришла: забрать шляпу, забытую на дне рождения Локки, которую, как мне сказали, взял Влад и обещал передать в универе, чего до сих пор не

сделал. Шляпа действительно нужна, т.к. уже начались дожди, а зонты я не люблю. Пока Влад отыскивал шляпу в темной прихожей, у него было время прийти в себя и поинтересоваться, как у меня дела.

- Он еще спрашивает! – пропыхтела я. – После такой умопомрачительной критики я чуть с ума не сошла.

- Что ж, - переминаясь с ноги на ногу, ответил он, - мне очень приятно.

Мама миа, разговор двух идиотов, - подумала я.

- Держи ответ, - найдя момент подходящим, я извлекла из кармана дискету.

- Так и будем перебрехиваться? – он улыбнулся, я слышала.

- Так и будем.

А что еще оставалось? Все вылетело из головы, напрочь.

- Может, зайдешь? – спохватился Влад.

- Нет, пойду домой, - сказала я, не двигаясь с места. Больше ничего в голову не шло. Впрочем, я не ведала, что именно хотела сказать, когда шла сюда. Чем думала и о чем – сама не знаю - вполне естественно чувствовать себя полной дурой. Я вообще ничего перед собой не видела, кроме этой цели; дойти к нему одной, появиться на пороге этой квартиры - уже сродни подвигу и, вероятно, меня должна была тут же разразить молния.

Влад протянул ко мне руку, пригладил кудрявую челку и опять чему-то улыбнулся.

- И не смей больше называть свои стихи хренью, - сказал он.

- Эти еще ничего, - ответила я, не придумав ничего лучше, - есть и побредовее.

Ничего больше не выдавила, не извинилась за жалкий ответ, хоть самый факт ответа на такие стихи казался кощунственным. Перед глазами темно. Меня трясет, и трудно дышать. И он ничего не говорил, не удерживал меня. Обалдел от моего визита, понимаю. Это я дура.

Как хорошо – воздух, прохладно, светло! Только мне плевать. Пусть хоть машина переедет – одной дурой меньше. Я шла, шатаясь, как матрос в бурю, не видя ничего перед собой. Села в троллейбус, поехала на вокзал. Маршрутка на дом подана. Я жевала шоколадку по дороге, хотя. обычно не ем сладкого без ведра чая. Но чем еще утешиться?

Хорошо, дома никого. Меня переполняли эмоции и, едва закрыв за собой дверь, я дала им волю. Проревелась, выпила чая, включила «Найтвиш».

Телефон. Первая мысль: Влад! Вторая: бред! Нет, это Катюха. Спрашивает, как жизнь, почему голос убитый. Обострение паранойи осенью.

- Ну что, Влад тебе звонил?

- Нет, - пауза, - я была у него сегодня.

Потом рассказала ей все.

- Вы оба эстонцы! – хохотала она в трубку. – Два сапога пара! Как я вас люблю!

Катька согласилась, что я дура, предложила зайти утешить, но я отказалась, ведь уже все в порядке. Все обо мне беспокоятся, кроме Влада. Ясно, я ему и на фиг не нужна, но эта мысль хуже петли. Нет, нет… разве, глядя на меня, можно подумать, что я сгораю от любви? Но я ж, блин, сгораю! Ладно, если он не

совсем осёл, скоро все решится, что я парюсь? Такого ответа лишь идиот не поймет.

Вечером поговорили с сестрой. Она фаталистка! Говорит, раз сделала так, а не иначе - так тому и быть. По ее мнению, критика Влада на чисто дружескую не похожа, а мой ответ тем более.

30 сент.

Едва ввалившись в пустую квартиру, услышала телефон. Катька. Сказала, что вчера звонила Владу, он сам завел разговор обо мне, сообщил, что я заходила, спросил, читала ли Катя мой ответ. Она его не читала, но «догадывается, о чем он». Влад очень долго молчал в трубку, думая, как воспринимать мои стихи, но Катя подсказала: неужели ты не понимаешь, о чем они?! Влад ответил необыкновенно ясно: вы хотите, чтобы меня три молнии разразили?! Какие молнии – мы так и не узнали. Видимо, Влад понял все или не понял ничего. Неужели он такой тормоз? Или я так «ясно» излагаю мысли? Катя попросила, если это, конечно, не супертайна, почитать ей мой ответ, дабы она, как человек со стороны, сделала вывод. Я кинулась в комнату, включила комп и зачитала ей стихи.

- Ндааа, - протянула она, - надо быть идиотом, чтобы такого не понять. Ладно, давай сходим в лес, проветримся. А то ты совсем закиснешь.

Она права – я расстроена, и голова ужасно болит. Гуляли молча. Катька подкинула мне пищу для размышлений, сказав, что когда передавала Владу дискету со стихами, просила его (от моего имени) не быть чересчур строгим. Он ответил, что никогда не сможет ругать меня, т.к. чем больше знает, тем больше любит, и что я - «единственная святая из всех». Замечательно. Просто класс. Это опять «чисто дружеская рецензия»? Я уже ничего не соображаю».

Ясно теперь, какие тетради я бросил в огонь: до июня 2002 записей не было. Не знаю, видела ли она Влада еще, как жила все это время, что происходило. В тетради с питбулем в майке AC\DC Маша начала описывать летнюю сессию, самые жуткие экзамены, мысли о преподавателях, о будущем третьем курсе. Все это щедро чередовалось с простенькими, но характерными рисунками, стихами, обрывками текстов песен, схемами. Влад появился только в следующей тетради, с «Арией».

«31 августа.

Позвонила Владу, поздравила с днем рождения. Он не узнал меня, попросил назвать имя. Теперь вокруг столько девчонок, а меня он год не видел, да и, вероятно, предпочел бы забыть, если еще не сделал этого. А чего мне стоило позвонить ему?! Кому это нужно?

29 сентября.

Егор пригласил к себе послушать гитарные творения. Влад, разумеется, там. С какой-то девушкой, совершенно не похожей на меня, что я непроизвольно отметила. Да уж, я бы не валялась на диване рядом с ним и не разглагольствовала о чужой любви:

- Анабель любит Андрюху.

- Да ну? – удивлялся Влад.

- Правда! Она говорила, что мечтает таскать ему кофе в постель и заштопать все дырки на его носках.

- Какой ужас! У него дырявые носки? Мне стыдно за него!

Я сидела в другом углу комнаты, невольно слушая этот бред, хотя он, наконец, пролил свет на тайну любви в их понимании. Мне стало противно – будто я инопланетянка со своей чистой и прекрасной любовью, и такое здесь вообще никому не нужно. А нужно вот это: лежать рядом, нести всякую чушь, таскать кофе в постель и штопать носки. Жаль ради такого рвать сердце И горько разочаровываться. Причем разочарование не в придуманном образе, а реальном тебе, который существовал и которого я полюбила, которым ты мог стать. Как могла возвыситься твоя душа! Я не идеализировала, я полюбила реального человека. Просто острота чувств заставляет видеть в объекте привязанности нечто большее, чем он есть.

Он вел себя так, словно ничего не произошло, по схеме «перебесилась? вот и славно!». То ли стал абсолютным идиотом, то ли ему так проще, то ли он просто не знал, что еще делать, – не сидеть же на кухне, пока брат тестирует на мне гитарные примочки! И Влад пытался наладить со мной контакт, к сожалению, не из угла комнаты, а сел рядом, даже слишком близко. Мне вовсе не хотелось видеть его, и говорить нам не о чем. Я вела себя бирюкастей, чем всегда. И решила, что я бы не стала валяться с кем-то на диване в присутствии человека, распахнувшего передо мной сердце, и который так любил. А как любил? Кофе в постель и носки штопать? Только это и требовалось? Вот и почувствовала себя белой вороной или еще какой нелепой птицей, Бог знает зачем здесь оказавшейся. Здесь, где некогда родные по духу люди говорят о носках и любви! Их личная жизнь стала настолько общественной, что меня затошнило. Что вы сделали с нашей мечтой? Что с вами сделала жизнь? Вернее так: что вы позволили ей сделать с собой!»

В дверь постучали. Раиса Филипповна зовет ужинать. Испугавшись, что она откроет дверь и увидит разбросанные по полу тетради и застанет меня за чтением чужих мемуаров, я резко вскочил с кровати, легким движением ноги задвинул коробку под шкаф и, наверное, громче, чем следовало, гаркнул:

- Уже иду!

Прибежав вниз, я стал напряженно прислушиваться к голосам на кухне, но не распознал ничего, кроме телевизора.

- Маша не придет ужинать? – спросил я, помявшись на пороге.

- Нет, ей совсем плохо. Я отнесла ей ужин наверх, но не уверена, что она его съест.

Старушка тяжело вздохнула, очень медленно подошла к столу и опустилась на стул. Я не знал, что говорить, не умел приободрить или утешить, да и не глупо ли?

- Раиса Филипповна, - слегка помедлив начал я, - с ней что-то серьезное, да?

- Да, дружочек, очень серьезное, - она всхлипнула, - ой, Господи, Господи! Вот ужас-то! Такая молодая, такая добрая девочка!

Я задергался: на слезы я никак не настроился, пока спускался к ужину. Не решался спросить, что именно произошло с Машей, а старушка молчала, изредка всхлипывая. Это был самый тягостный ужин в моей жизни.

- Мы ничем не можем помочь? – спросил я, не в силах выносить это больше.

- Нет, голубчик, тут и врачи бессильны. Она говорит, ей недолго осталось, – максимум два месяца.

Внутри расползся жгучий холод. От сердца во все стороны. Я на какое-то время застыл с вилкой в руке и невидящим взглядом смотрел в телевизор.

- Рак? – немного опомнившись, предположил я.

- Последняя стадия. Ой, Господи!

Еле запихнув в себя остатки ужина, я поднялся наверх и постучал в Машину дверь. Она молчала, и я не стал беспокоить ее, убедив себя, что она просто спит. Тяжело отогнать дурные мысли, но я внушал себе, что она не могла умереть вот так, сейчас, одна, не попрощавшись, тем более, когда ей полегчало. Не могла и все. Я не хотел верить.

Чтение возобновилось с роскошной белой тетради в твердой обложке, на которой золотым теснением выбита надпись на латыни: «подобное не есть то же самое». Открыв книгу, я увидел яркую фотографию женщины в белом платье, сидящей на открытой клетке на фоне синего неба. Ветер завесил ее лицо рыжими кудрями, но я все-таки узнал Милен Фармер. На правом форзаце большая картинка с изображением парящего в небе орла. Открыв первую страницу, я нарвался на черно-белую фотографию красивой девушки в грубом вязанном свитере, с запутанными волосами и закрытыми глазами, с сигаретой в руке. Все картинки большие и наклеены под углом.

«1 января 2003.

Настя и Катя собрались к братьям, уговорили меня поехать с ними. У братьев была та самая девушка, что и в сентябре. Зовут ее Надя. Настя потом сообщила, что раньше она гуляла с Копфшуссом, а теперь, видимо, спит с Владом. Я зря приехала, все, как я и предполагала: Настя говорила с Владом о религии, Катька с Егором – о музыке, а я только занимала место и лишала компанию порции чая. Когда мы ушли, почувствовала невероятное облегчение, а дома на меня опять накатила грусть-тоска, пустота и сознание собственного ничтожества».

Больше они с Владом, вероятно, не виделись в том году, но она часто о нем думала и много записывала. Однако не так меня интересовала любовь юного создания к этому странному типу, как прочие размышления. *«Я сильно прикипаю к близким людям, но таких немного - каждый встречный во мне подобных чувств не вызывает, и даже желания прикипать к кому-то у меня нет. Но если уж случилось – всерьез и надолго».* Мне захотелось увидеть этих людей. Какие они? Что она в них находит? Что заставляет радоваться им и дорожить общением с ними? Или, к примеру, этот Влад. Я так и не уяснил, что произошло между ними – осталось ли это в сожженных тетрадках или вовсе ничего не было? Я видел его фотографии, вклеенные в некоторые тетрадки, - распечатки на цветном принтере. Я смотрел и не мог понять, чем он ее пленил. Тощий, длинноволосый парень с вытянутым лицом и надменным взглядом. Не сказать, что таких тыщи - чем-то он, действительно, выделяется из толпы подобных, но высокомерие в глазах портит благоприятное впечатление. На фотках он в основном в ролевых прикидах, что само по себе необычно, но посмотреть бы на него в повседневной жизни, и желательно сейчас, а

не в 2003м году. Машиных фотографий тех лет я не видел и не могу судить, сильно ли она изменилась.

Всю ночь я читал маниакально-депрессивные записи в веселой тетради с тремя толстыми медведями. Первый чесал затылок, раздумывая над всплывающим вверху вопросом: «что в жизни самое важное?» Справа сидел второй и, гладя себя по животу, отвечал: «полное брюхо», а третий, внизу обложки, лежал пузом кверху, закрыв глаза, и думал: «и хорооооший сон!» Обложка мне так понравилась, что захотелось ее отсканировать, но я и представить себе не мог, насколько она не соответствует содержанию. Разумеется, откуда автор дневника мог знать, как сложится жизнь, выбирая тетрадь для записи? Написано все как на одном дыхании, точнее, на срыве, читалось взахлеб, и многие мысли я нашел привлекательными для себя теперешнего, а некоторые – созвучными с собой тогдашним. В следующей тетради дневник занимал лишь конец, остальное - рисунки, планы, стихи, короткие рассказы, которые я тоже прочел. Каждый датирован, и при наличии дневника есть возможность понять, чем тот или иной опус был навеян. Хотя, признаюсь, несильно помогло. Машины образы не всегда понятны, а мысли бродили от действительности дальше, чем я мог себе представить. Каждый очерк занимал листа четыре и содержал эмоциональное напряжение, заменяющее сюжет в привычном его понимании. Главный и часто единственный герой именовался «ты» или «он». Эти записи можно было бы назвать размышлениями или рассуждениями, если бы каждое развивало только одну тему и если бы мысль была очищена от образности и выражена простыми словами или того хуже – научными терминами. Машины рассуждения сплетены из двух-трех порой несопоставимых идей, обернуты в насыщенные образы с привлечением неприметных фактов из жизни. Если приглядеться, фабула выглядела классически, с завязками и развязками, и неизбежно приводила к чему-то. Действие происходило в сознании героя, действующим лицом была мысль, оживленная поэтичной образностью, а сухое рассуждение превратилось в остросюжетный триллер. Мне нравились выводы, которые делал герой, нравилось, как умел к концу справиться с собой. Но трудно поверить, что двадцатилетней девушке приходилось снова и снова преодолевать этот путь. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о ком она пишет. Но почему «он»? Даже когда это был «ты» – именно *был*. И правда – девушка с такими размышлениями не ассоциировалась. Единственный рассказ, в котором оказался «внешний» сюжет, и целых два героя – он и она – занял больше места и по форме отличался от других. Некоторые эпизоды я перечитал несколько раз. Есть ощущение, что прототипом служил конкретный человек. Дата ни о чем не сказала. Ровным счетом ничего не произошло в этот день. «Он» – это не Влад, я знал наверняка. «Она» не похожа на Машу. Скорее всего, очередная фантазия, охватывающая большее жизненное пространство.

В пять утра я заснул, спрятав коробку с оставшимися тетрадями под кровать, а прочитанные отложил на сожжение.

Я зашел к Маше почти сразу после пробуждения. Не знаю, выходила ли она к завтраку, – я-то еще дрых, Раиса Филипповна так и не добудилась меня. Маша лежала на кровати, завернувшись в плед. В сереньком магнитофоне крутился какой-то диск. Она не показалась мне такой бледной, как вчера, но лишь на первый взгляд. На второй оказалась желтоватой.

- Ну, как ты сегодня? – я придвинул стул к кровати, сел и старался говорить как можно бодрее, улыбаться, хотя чувствовал, что вот-вот расплачусь от этого зрелища. Мне хотелось столько спросить у нее, столько узнать! Но не мог же я сказать: «Всю ночь зачитался твоими дневниками! О ком же «Дверь» и почему названия некоторых рассказов такие странные?» Я не мог отделаться от мысли, что смотрю на нее другими глазами, как на другого человека, о котором раньше ничего не знал, какими бы задушевными ни были наши беседы.

- Неплохо, - она попыталась улыбнуться и протянула мне руку. Я легонько пожал ее, боясь сломать запястье. Не представлял, что говорить дальше. Смотреть на нее страшно и больно: сквозь фарфоровую кожу видны прожилки, подбородок заострился, скулы проступили отчетливее, глаза запали, и под ними не исчезли черные круги. Растрескавшиеся губы едва шевелились, и слова выползали чуть слышные, редкие, вялые.

- Ты все сжег? – спросила она через какое-то время.

- Почти. На сегодня кое-что осталось, - я не мог врать, хотя желал этого. Ждал, что она спросит, не читал ли я, боялся этого вопроса, готовился к нему. Но он так и не прозвучал. Да и какое это имело значение теперь? Пусть даже какой-то случайный человек и прочтет… что это изменит, как навредит? И точно не спасет. Я сидел рядом с ней, перебирал эти мысли, держал ее исхудавшую руку в своей большой горячей ладони, словно пытаясь передать часть жизненных сил ей, напитать ее своей бьющей через край энергией, с которой решительно не знал, как поступить. Она закрыла глаза, избавив меня от необходимости смотреть на нее. Я перевел взгляд за окно.

- Как там сегодня? – спросила она.

- Серо, пасмурно, кое-где еще лежит снег, но лед на реке почти растаял. На равнине жуткий ветрина.

- Я так люблю ветер! – мечтательно прошептала она. – Любой, даже северный и колючий. Здесь его не чувствуется?

- Здесь не так.

- Надо собраться с силами и сходить на равнину хоть завтра. Не могу больше так, задыхаюсь без ветра.

Я хотел было возразить, что ей нельзя никуда ходить, что она слишком слаба и еще, чего доброго, простудится, но доводы показались настолько глупыми, что я раздумал превращать их в слова.

- Давай сходим завтра, если захочешь, только одевайся теплее.

- Хорошо. Спасибо тебе, - она помолчала немного, - дожги тетрадки сегодня, пожалуйста. Мне спокойней будет… хорошо?

- Хорошо, - я потупился, как школьник, дикими усилиями воли борясь с подкатившими к горлу слезами.

- Хочешь что-нибудь на память оставить? – на какое-то время я остолбенел от этого вопроса. - Нет, лучше не оставляй, - не дождавшись ответа продолжила она, - мне так спокойнее… все сожги.

- А рисунки можно оставить? – неловко встрепенулся я.

- Это не рисунки, - она слабо улыбнулась, - это каракули. Оставь, если хочешь.

- Они интересные, - возразил я, - милые и чистые.

Вот именно, чистые. Я вчера не мог понять, что в них вижу и чем они мне нравились. Детские такие, яркие, неумелые, но образные, хоть и нарисованы либо синей ручкой, либо фломастерами, либо карандашом.

- Мне больше всего понравились птицы, - сказал я, пожав ее руку, - очень фантастичные, но так похожи на людей!

- А, эти даже мне нравятся, - она опять улыбнулась, - особенно та, что спиной, с ирокезом.

Я засмеялся.

- Ладно, ты лучше иди дожги, а то стемнеет, - попросила она, отпустив мою руку, - что нам еще сказать друг другу? Иди.

Я не стал возражать и был ей благодарен. Разговор действительно иссяк, мне нужно время, чтобы смириться с неизбежностью, ей не хотелось видеть процесса моего смирения, слушать подбадривания и прочие глупости, что вполне понятно, хотя я и не представлял, как чувствует себя человек одной ногой в могиле. Я не бежал этих мыслей – наоборот, отчаянно примерял на себя, чтобы не сделать Маше еще больнее. И пришел к выводу, что мне было бы неприятно видеть жалостливые взгляды, мириться с чей-то болью, когда не справляешься со своей, выслушивать сочувственные реплики, ложь, наигранный оптимизм, понимать, что от тебя отворачиваются, пряча слезы. Возможно, лучше умирать в одиночестве, зная, что некому плакать о тебе и жалеть. Может быть… это зависит от человека.

Я встал, повернулся к Маше, махнул ей рукой и вышел из комнаты, поймав ее светлую измученную улыбку.

Вернувшись к себе, я сгреб прочитанные за ночь тетради и вышел на улицу. Зайдя за сарай, я развел костер, подождал, пока пламя окрепнет и взовьется достаточно высоко, а потом бросил первую тетрадку. Она загорелась вяло и нерешительно. Все-таки я невольно соврал Маше: ветер здесь еще как чувствовался, но он был теплым, южным, таким свежим и ароматным, полным весны и надежды на обновление, на лучшую жизнь, что опять защипало в глазах. Я посмотрел вверх – Машино окно закрыто, но шторы не задернуты. Я в любую минуту ожидал, что она выглянет, проверит, здесь ли я и выполняю ли ее просьбу. И когда она выглянет, я сделаю ей знак открыть окно, чтобы она смогла подышать чудесным ветром и хоть немного порадоваться. Я бросил вторую тетрадь - окно так и не открылось. Неужели она не слышит моих шагов, треска костра, порывов ветра? Или ей так плохо, что не может встать и подойти к окну? Или ей все равно. Она слышит и верит, что я бросаю в огонь листы ее жизни, выполняю ее заветное желание – иначе мне и быть здесь не за чем. Она успокоилась. Она просто доверяет мне. Возможно, она верит даже в то, что я, следуя ее просьбе, не оставлю ни блокнота на память. Пусть так. Ее доверие - не моя заслуга и не привилегия. Так доверяют, когда нечего терять, когда нет смысла держаться за что-либо. Так доверяют от отчаяния, от безысходности, поэтому я не чувствовал себя польщенным. Я чувствовал себя палачом, сжигающим жизнь еще не умершего человека. Как будто я от самой Маши отрываю куски, срываю с оборванца остатки одежды или выгоняю бомжа из облюбованного для ночевки подъезда. Я старался не зацикливаться, не драматизировать, вообще не думать о том, что делаю и не подпускать слишком близко подобные мысли не потому, что боялся их, а потому, что было гадко. И еще гаже становилось, когда я думал о том, что лучше не станет, как бы я ни поступил. Если оставлю тетрадки

себе, – замучаюсь чувством вины перед Машей. Если сожгу все до единой – возможно, в дальнейшем не раз пожалею, что не оставил хоть малость, что позволил этой удивительной жизни упорхнуть из рук, как пеплу сожженных страниц. Позволил ей так тихо угаснуть, и никто не узнает, каким чудесным человеком была Маша, как остроумно подмечала всякие мелочи, как умела чувствовать и видеть во всем красоту, как бережно хранила каждый день своей жизни, не предавая ничего забвению, каким осмысленным и важным казался ей каждый шаг и каждый вдох. Я неожиданно понял, чего мне не хватало: я хотел научиться тому, что она так хорошо умела и не придавала этому значения. Я хотел той же осмысленности жизни, уверенности, что ничего не сделал зря, хотя всем есть, о чем сожалеть. Видеть скрытый смысл каждого знака, помнить имя и лицо каждого встреченного мной человека и верить, что встретил его неслучайно. Ощущение этой жажды повисло надо мной неотчетливой тенью еще вчера вечером, но я никак не мог дать ей названия, не мог сформулировать, что во мне пробудили Машины записи. А теперь начал понимать и испугался, что это чувство уйдет, если сожгу все, забудется или смешается с чем-то другим и предстанет в невыгодном свете. Нет, обязательно нужно оставить хоть кусочек этого чистого знания, хоть один образчик – самый ясный, самый интересный и милый, самый забавный, но в то же время грустный. Бросив огню предварительно разодранную белую тетрадь в твердой обложке, я сунул за пазуху тетрадь с мишками. Обложку отсканить не успел – вот и причина-прикрытие. Для себя, пока могу себе врать.

За ее окном по-прежнему чернела мертвая пустота. В какой-то момент я даже разозлился, и мне захотелось крикнуть: «Да выгляни же ты, наконец! Неужели непонятно, для кого я тут стараюсь! Неужто я по собственной воле стал бы жечь все это! Неужели тебе все равно!» Я махнул рукой, холодея от этих мыслей, и секундой позже разозлился уже на себя.

Порой я даже завидовал ей: как усталость и смерть все облегчают!

Закрывшись в комнате, спрятав тетрадь с мишками в стол, я снова погрузился в чтение. Продолжение было в тетради с твердой обложкой под джинсу, с красной розой в каплях росы. Очень красивая тетрадь. В ней не было рисунков и стихов – только на форзацах приклеены аккуратные картинки с волком, рысью, тигренком, кроликом на роликах и котенком, играющим с компьютерной мышью. Я читал все подряд, механически выделяя редкие эпизоды, которые можно было хотя бы косвенно отнести к истории с Владом.

«9 июля 2004.

Катя договорилась встретиться с Егором - я увидела плохой сон про него. Мы всполошились и делегировали ее к братьям. Вечером она позвонила и рассказала, что Влад и Надя поженились в октябре прошлого года, в апреле у них родилась дочка. Живут у Нади. Катька видела свадебные фотки, фотки ребенка. Гор, сплавив брата, взялся за творчество с удвоенной силой и наслаждается одиночеством в собственной комнате.

14 сент.

Мы с Катей поехали к Егору, несем ему свое литературное творчество и хотим забрать его. Были и Влад, и Надя, и Егоркина девушка. Опять в комнате не протолкнуться, только все совсем по-другому, не как в старые времена, когда мы были молоды и свободны, когда эти ребята были просто нашими друзьями, а не чьими-то мужьями и возлюбленными. И ничего уже не вернуть, хотя я порой жалею о том времени. Жалею, что сама все испортила, – сейчас мы с Владом могли бы хоть по-дружески общаться. Может, он был бы рад, – видно, что ему не очень приятна эта дистанция, но я не могу заставить себя быть, как прежде, и вести себя так, будто ничего не случилось, и я все забыла. Мало ли что по молодости бывает, ха-ха! Подумаешь! Проехали и живем дальше. Но нет, такое поведение непосильно для меня. Возможно, Катя справилась бы. Но Катя и не мучилась бы из-за такой ерунды, как неразделенная любовь четыре года. Хватит уже нас сравнивать; я приняла себя такой, как есть, и никому не завидую и даже не пытаюсь стать другой. Как она однажды сказала: мне легко балагурить в компании, тебе легко писать стихи. Так пусть каждый старается в посильном для него деле».

Тетрадь с «Наивом» на обложке – удивило и позабавило. Картинки и рисунки возобновились.

«15 апреля 2005.

Зашла к Гору на большой перемене, поздравила с днем рождения. Дома только его отец, который нянчился с Владовой дочкой. Остальные, видимо, работают. В комнате - бедлам. Влад и Надя опять живут здесь, но, похоже, здесь же и Егор со своей девушкой. Где и как помещаются – не представляю. Неужто все в одной комнате? Или в кладовке? Так неуютно, неопрятно, хотелось уйти скорее. Я чувствовала, что ничего больше не связывает меня с этими людьми, чей образ жизни я даже постичь не могу, и все тут кажется отталкивающим и даже грязным. Но Егорка явно рад повидать меня, да и я его тоже.

14 августа.

Поехали вместе с Настей, встретились с Гором, Он рассказал нам о жизнях - своей и брата. Влад работает на заводе и берет подработку, Надя трамвайщица, работает то днем, то ночью. Дочка у Надиной бабушки, они ее почти не видят. Влад жалуется, что тупеет, Егор жалуется, что Надя неряха, и в комнате хрен знает что. Наташка еще рассказала, что у Влада желтые волосы – видать, жена покрасила».

Дальнейшее привело меня в шок: записи продолжились на английском. Почерк у Маши отнюдь не подарочный, а по-английски я и вовсе с трудом его понимал, особенно сокращения и сложные длинные слова. Решив, что сам Бог велел хоть частично исполнить Машину просьбу, я отложил англоязычный материал для сожжения. Пролистав еще четыре записные книжки, нашел лишь некоторые дни на русском и вырвал листочки. Все эти дни касались исключительно братьев.

«30 августа.

Зашла к Егору за мидиклавиатурой. Влад сидел за компом, ребенок спал в кресле. Надя писала в ЖЖ, что родила второго. Уходя, я поздравила Влада с наступающей днюхой. Он проблеял в ответ ошалелое «спасибо».

С ноября Маша стала вновь писать по-русски, но та тетрадь оказалась последней. Еще одна серая канцелярская книга в мягкой обложке, очевидно, доставшаяся Маше от мамы или старшей сестры – такие безликие тетради были в далеком советском прошлом. Казалось, ей все равно, в каких тетрадях писать: в новых и красивых или в старых и страшных, больших книгах или маленьких блокнотах, с мягкой обложкой или с твердой, в клетку или в линейку, а то и без линеек. Если готового не было – она делала сама: сшивала листы брошюрками, вклеивала распечатки в старые тетради по аналитическому чтению, скрепляла степлером по десять вырванных листов и, когда таких подшивок накапливалось хотя бы пять – склеивала их скотчем и вместо обложки приклеивала картонки. Одна преподавательница в институте, помешанная на психологии, хорошем тоне и прочем официозе, говорила, что о человеке можно многое сказать по тому, какие тетради он покупает, какой ручкой пишет или, если это девушка, как у нее стесывается помада. Ну-ну. Посмотрела бы она это добро – что о таком человеке скажешь? Ведь не то, что он ко всему безразличен, – Маша почти во все тетради вклеивала свои картинки, разрисовывала картонные самодельные обложки как могла, своими руками оживляла серый хлам. Картинки эти тоже в одну систему образов не укладывались, и я не мог понять, что ею двигало, когда она выбирала ту или иную для тетрадок. Ясно одно: психолог и аналитик из меня никакой.

Тетрадь подходила к концу. Грустно расставаться с чужой жизнью. Неужели Маша больше ничего не записывала или первым делом сожгла именно ту тетрадь? Я пролистал серую книгу до конца и вдруг увидел, что к последней перед обложкой странице приклеен конверт с диском. Интересный поворот! Почему же я сразу не заметил? Покосившись на ноутбук, я все-таки решил сначала дочитать то, что есть, а потом посмотреть диск. Неужели Маша и его хотела сжечь? Разумеется, спрашивать у нее не стану – сказали сжечь все, я и «сожгу», без разговоров, иначе будет совсем честно, до неловкости, до наготы.

«20 октября.

Поехала в город почти в четыре, слушая Джефа Бакли. Еще летом решила познакомиться с его творчеством, и оно показалось мне сложным, в частности из-за необычного голоса Джефа. Тогда мне понравились две песни, а остальное даже фоном еле восприняла. Теперь же почему-то покатил. Как и вся хорошая музыка, дождалась своего часа. Особенно хорошо вписывается в декорацию осеннего, голого, сумрачного города. За стеклами маршрутки движение, но звуков не слышно – они подавлены мягким голосом и филигранными гитарными переборами. Прекрасно!

Закрывая глаза и затыкая уши, я как бы смотрю в свою душу, и она вдруг раскрывается, кажется такой необъятной и просторной, что становится тесно на планете. А где находится весь этот простор? Наверное, я просто фантазерка – молчаливая, туповатая и медлительная. Каким ничтожеством я себя чувствовала в такие моменты!»

Одна из последних зарисовок. День непримечателен, но мне запомнилось чувство, с которым Маша его описывала. Насколько умеешь ощущать жизнь, раскрашивать дни, бережно относиться ко времени. Ей не в чем упрекнуть себя – она жила вдумчиво, цепко, внимательно и содержательно. А что бы думал о себе и своей жизни я, лежа на смертном одре? Видимо, Господь решил хоть чему-то научить дурака, оставив поразмышлять. Господи, неужели я настолько дурак, что меня можно вразумить лишь ценой чьей-то жизни?! Неужели не нашлось иного способа? Мне стало больно и стыдно и мучительно захотелось поговорить с Машей начистоту. Как она воспринимает свою смерть, о чем жалеет, чего желает, боится ли, ждет ли… жестоко, да? Наверное, раньше мне бы такое в голову не пришло. Но Маша - необычный больной и в том, что она свою смерть осмысливает и разглядывает так и этак, у меня не осталось сомнений. Она не из тех людей, которые пускают сопли пузырями, причитая: за что мне это? Почему я? Зачем так рано? Она не станет ныть и жаловаться. Ее любопытство и юмор исключают это. Нет, я ни за что не смогу решиться заговорить с ней – сам чего доброго распущу сопли, я и так-то еле смотрю на нее. Из страха ли? Из жалости?

Я походил по комнате, ища ответы на эту пару полувопросов. Нет. От боли. Жгучей и настоящей. Я просто не хочу терять такого человека, мне будет ужасно не хватать ее. Раньше я знал, вернись я домой, мог бы на выходных позвонить Маше и поболтать с ней о том о сем, или списаться по интернету. Возможно, встретились бы когда-нибудь, но в любом случае, я не был настроен терять контакт с ней. А сейчас… мои планы рухнули не окрепнув. Некуда будет звонить и некому писать. Я вернусь к работе, возможно, женюсь, будем навещать родителей по вечерам и по выходным… дети, продолжение жизни в них, а потом - спокойная старость. И со временем я забуду, что когда-то снимал комнатку в доме одинокой старушки и познакомился с человеком, преданным тени любви до самой смерти, угасшим на моих глазах, ни проронив слезы и ни слова ропота. Сохранил ее дневники, рисунки и рассказы - они, кажется, на антресоли. Все расписано, все просчитано. А для Маши такого не будет. И как же странно, страшно и больно! Я-то привык, что жизнь впереди, а теперь приходится наблюдать, как она обрывается для человека моложе меня. Точнее, не обрывается, а заканчивается – плавно и мучительно, закругляется жесткой петлей, терновым венцом, последним объятьем. Вот и смотри, смотри! Так могло быть с тобой, так может быть с каждым.

Состояние Маши не улучшилось, поэтому гулять мы не пошли. Но она попросила помочь ей выбраться во двор. Я настоял, чтобы она надела пуховик, хотя было плюс десять. Мы сидели на стульях у сарая, глядя на пепелище вчерашнего костра. Я старался не смотреть на Машу и не ужасаться, во что она превратилась, не думать, что скоро ее не станет и с этим ничего нельзя поделать. Противно ощущать бессилие. Я отвык от этого чувства, хотя еще года два назад оно неотступно преследовало меня. Возможно, раньше я чаще сталкивался с плохими сторонами жизни или просто был моложе и резче.

- Скоро закончится отпуск? – Маша разбила мою недовольную тишину.

- Скоро, - я не хотел говорить, что уеду через три дня.

Она больше ничего не спрашивала, выключила взгляд, и вокруг нее будто стена выросла. Наверное, такая стена отгораживает всякого больного от внешнего

мира. Стена непреодолимого одиночества. Маша все дальше уходила в неведомое измерение, которое окутывало ее прозрачным коконом, глушило звуки, размывало контуры. Мы рядом, но между нами невидимая пропасть; здесь, на пепелище костра, - граница наших миров, а наши стулья - на разных планетах. Мы уже с трудом понимали языки друг друга, поэтому говорили редко. Я не пытался шагнуть навстречу, нарушить безмолвие, потому что, во-первых, не знал, как это сделать, а во-вторых, боялся, словно это чем-то грозило мне. Граница между миром мертвых и миром живых, которую я не решался переступить и не мог заговорить о ней с Машей, дабы не причинять ей боли, не напоминать о том, что она и так не забывала ни на секунду. Я не в силах облечь словами нечто, душившее сердце тяжким бременем, вплестись в эту границу, сделаться причастным к этой тайне, к Машиному отчаянию и одиночеству, оставаясь таким же бессильным. Если бы я мог сломать эту печать и вытянуть Машу из нарастающей черноты обратно в живой мир – тогда имело смысл вмешаться и бередить раны. Но я не мог, а словами уже не поможешь.

Иногда становилось совсем страшно: она не хотела бороться за земное существование и давно смирилась с тем, что каждый новый день по капле выжимает из нее жизнь. Покорно ждала конца мучений. А как же та жажда перемен, о которой она говорила? Желание новой жизни, к которому так стремилась ее душа? Неужели это была издевка над собой? Или так она понимала свою болезнь – переход в новую жизнь? Мне вновь ужасно захотелось поговорить с ней об этом. Я встал, прошелся по поляне, собираясь с мыслями. Теплый ветерок трепал волосы, заползал в петли свитера. День пасмурный, но очень хороший. Люблю такие дни – все кажется самодостаточным и ярким, солнце не перетягивает на себя внимания и не бледнит все остальное. Что-то подсознательное или даже сверхъестественное во мне заставляло радоваться этой весне, этой иллюзии перемен, чувствовать облегчение и надежду, хотя все давно поняли, что это такая же ерунда, как и новый год с его чудесами.

- Маш, тебе не холодно?

- В пуховике-то? – она улыбнулась. – Конечно, нет! Прекрасный день.

Контраст между «прекрасным днем» и ее безжизненностью отозвался тупой болью в сердце. Нет, я не мог заставить себя начать разговор – каждое слово о новизне и переменах звучало бы насмешкой. Я почти физически ощутил, как стена между нами уплотняется, и, вероятно, вскоре мы даже слышать друг друга перестанем.

Перед ужином я опять зашел к Маше. Она лежала под пледом и казалась совершенно плоской, не занимающей места на кровати.

- Маш, давай врача вызовем, нельзя же так, - сказал я, усаживаясь рядом с ней.

- Не надо. Все и так ясно. Врачей было достаточно.

- Ты что, от них убежала?

- Почти. Не хотела умирать в больнице.

Меня бросило в пот от ее слов.

- У тебя ведь есть родственники?

Она кивнула.

- И они по-прежнему не знают, где ты?

- Нет.

В эту секунду я подумал: как хорошо, что я сижу. У меня закружилась голова, и потемнело в глазах.

- Но они должны знать!

- Узнают, когда придет время. Представь себя на моем месте: лежишь полумертвый и тебе больно, плохо и ни до чего нет дела, а люди толпами ходят. Еще хуже, что родные. Смотрят на тебя так… лучше не вспоминать! Нет, не представляй, это я загнула. Просто поверь, так легче, и не вмешивайся.

- Не буду. Наверное, ты уже достаточно обо всем подумала.

- Это точно! Времени было полно, - голос ее оставался тихим и слабым, говорила медленно и неохотно. Но мне было приятно находиться рядом и говорить с ней. Я хотел знать, как она от всех ушла, как попала сюда и когда это случилось, сразу ли сказала Раисе о болезни. Видел, что говорить ей тяжело, да и какое я имел право лезть в столь деликатную тему, когда по уши влез в ее жизнь?

- Я все сжег, - соврал я, - все до последней тетрадки. Можешь быть спокойна.

- Спасибо, - она тепло улыбнулась, - большое спасибо.

- Не за что. Рисунки оставил себе. Спасибо тебе за них.

- Я рада, что у тебя останется память обо мне. Не знаю, почему, но мне от этой мысли теплее.

Я тряхнул головой, чтобы не разреветься и заставил себя улыбнуться.

- Ну ладно, пойду поужинаю. Давай и тебе что-нибудь принесу?

- Не надо. Я ничего не хочу. Раиса Филипповна меня уже заставила бульон проглотить.

- Это было шесть часов назад.

- А я все еще не голодна. Пожалуйста, не беспокойся, со мной все ясно. Меньше всего я хотела напрягать кого-то.

- Нет уж, ясно или неясно, но пока ты здесь, ты мне нужна. Я бы заходил почаще, если тебя это не напряжет.

- Заходи. Только лучше сам что-нибудь рассказывай, мне лень говорить.

- Хорошо. Я могу читать тебе что-нибудь.

- Да, было бы здорово. Что ты сейчас читаешь?

Вопрос оказался таким неожиданным, что я чуть не выпалил: «Твои дневники», но вовремя сдержался.

- Вальтера Шелленберга, «Мемуары гитлеровского разведчика»,- вспомнил я одну из книг, привезенных сюда, но решил, что Машу это не заинтересует.

- «Лабиринт»? Правда?! Вот это да! – она прямо-таки просияла. – А я такую книгу видела только в аудиоформате, да так и не скачала, но очень хотела почитать. Как она тебе?

- Пробирает, - ответил я.

- Почитаешь?

- Конечно. Я не так уж далеко ушел от начала.

Спустившись, я стал вытягивать из Раисы Филипповны всю возможную информацию. Поначалу она говорила скупо, отнекивалась, но постепенно оттаяла. Видимо, ей тяжко переживать все в одиночестве.

- Она, естественно, не сказала, что умирать ко мне пришла, - вздохнула старушка, - позвонила, спросила, сдам ли комнату, потом приехала, поселилась. Ну

я ничего странного и не заметила – так, бледненькая, конечно, но этим ваше поколение не удивляет: сгорбленные и зеленые все, сидят за компьютерами. Ну, тощая – да мало ли таких! У меня внук почти такой же – за шваброй спрячется. Мы с ней хорошо поладили: когда в картишки перекинемся, когда в домино, когда телевизор вместе посмотрим. А в основном она редко выходила. Книги брала читать. Я и сама всегда читать любила, мы друг другу иной раз книжки рассказывали. Я тоже тут засиделась одна - поболтать не с кем. А потом… как-то она завтракать не пришла. Ну, думаю, спит еще, дело молодое, будить не стала. И к обеду не показалась, тогда уж я забеспокоилась. Постучала к ней. Ни ответа, ни привета. Ох, я тогда чуть Богу душу не отдала – такая тишина страшная, мертвая! Ну я и вошла, гляжу, а она лежит, зеленее больничных стен. Врача вызвала. Он ее осмотрел, у меня все, что мог выпытал, потом Маша очухалась, он меня из комнаты выгнал и долго с ней беседовал. А потом меня позвали и все рассказали. Врач орал благим матом, мол, Машу надо срочно в больницу. А она говорит: сначала в морг, а потом куда хотите. Карточки при ней не было – видимо, в больнице осталась. Документов тоже.

- Ну, Раиса Филипповна! – я аж подпрыгнул. – Как же вы комнату человеку сдаете, даже документов не спросив?!

- Ну вот у тебя, голубчик, спросила, а раньше у меня такой привычки не было. Доктор меня тоже пропесочил.

- Давно она у вас?

- С начала года.

- Много вещей при ней?

- Только рюкзак. Да что ей надо-то по дому ходить? Дома можно в одном и том же, пока не износится, да и то старье донашивать.

Я понял, что в рюкзаке, кроме тетрадок ничего и не было. И все-таки, как и откуда она пришла, не взяв ни карточки, ни документов, ни вещей… если она пришла сама, и какое-то время Раиса даже не замечала, что с ней не все в порядке, значит, она была еще в нормальном состоянии.

- Раиса Филипповна, а про родных она не говорила?

- Да как же не говорила! Она бы и не говорила, да вытянули. Матери она вроде как не знает, а отец пьет, и ему до нее дела нет. Только сдается мне, врет.

- Но доктор хоть стал наведываться?

- Да какой там! Если, говорит, смертельно больной пациент от госпитализации отказывается, ни документов при нем, ничего, родные тоже не в курсе, где он и что с ним, – меня за такие укрывательства посадить могут, так что больше не утруждайтесь, никого не вызывайте, никто и не приедет.

Я не удивился. Еще одна страшилка в копилку знаний о современной медицине и милосердии. Старушка, видимо, жила еще в советском прошлом, и ее такое заявление в шок повергло.

- Ну я говорю, хоть скажите, что делать! Маша вклинилась – мол, все лекарства есть, не волнуйтесь, и как их принимать, сама знаю, а если что, у меня все записано. Ну и врач только руками развел, как будто: жди, пока помрет, больше делать нечего. А помрет – тебе нелегко придется, всем все доказывать и рассказывать и хоронить каким-то образом. Но Маша пообещала, что когда совсем худо станет, позвонит отцу.

- Неужели он ее не ищет?

- Не знаю.

- Но даже если не ищет он – больше некому? – я вспомнил ее записи. Где же все Катьки, братья? Про маму она Раисе наврала – в дневниках мама фигурировала часто, причем в весьма привлекательном свете, и мне неприятно думать, какую боль Маша причиняет ей таким поведением. Да и отец… ни разу она не писала о нем, как об алкоголике. А записывала она много и подробно. Неужели такой важный аспект жизни человек скрыл бы от личного дневника? Ерунда. Опять было решил поговорить с ней начистоту, но… что но? Вправлять мозги? На фоне подступающей смерти все выглядело надуманно и мелочно. На фоне ее жизненного опыта мой казался несущественным. На фоне ее страданий боль, которую она причиняла другим, казалась укусом комара. Нет, я ничего не смогу ей сказать, ни о чем не буду расспрашивать и ничему учить не стану. Я такого не пережил, что я в этом понимаю? Будь я на ее месте – возможно, вообще руки на себя наложил бы и ни о ком не подумал бы. Зарекаться не надо.

После ужина я постучал к ней, теребя книгу Шелленберга. Маша не спала и, казалось, обрадовалась мне. Я устроился на полу, привалившись спиной к кровати и начал читать, не слыша себя. Я потерял счет времени и не ощущал ничьего присутствия. Машино дыханье было неслышным, она не ворочалась на кровати, не шмыгала носом, не кашляла, не вздыхала, ничего не комментировала. В какой-то момент я испугался, что уже случилось то, чего я так боюсь. Но нет, она просто заснула. Никогда не был выразительным чтецом. Посидев какое-то время и поколебавшись пару секунд, я придвинулся к прикроватной тумбочке и вытянул верхний ящик. На тумбочке не было никаких пузырьков, я заинтересовался, не наврала ли она и про лекарства. В ящике только один - без наклеек и надписей да плоская коробка, задвинутая так далеко, что я не решился шуршать, выдвигая ее. В нижнем ящике - молитвослов и плеер с наушниками. Да уж. «Все расписано» - это об одном пузырьке и коробке? Что бы там ни было, не похоже на картины из «Сладкого ноября» или страницы «Ракового корпуса». Я оглядел комнату в поисках сотового, но не увидел ничего похожего. Нет, это жестоко, ужасно жестоко. Просто так уйти в никуда, обрезав все пути, хоронить себя заживо…

Я тихо встал и вышел из комнаты, аккуратно прикрыв дверь. Вернувшись к себе, перелопатил оставшиеся дневники, пытаясь найти намек на домашний адрес, номер телефона или хотя бы имена родителей, но тщетно. Тогда я вспомнил о диске. Сердце слегка зашлось – вдруг там что-нибудь обнаружу? Я включил ноутбук и стал с нетерпением ждать, пока он очнется. Диск темно-сиреневый, черным маркером и Машиным почерком на нем написано: it's my life[2]. Открыв его, я увидел четыре папки: «Голоса», «Наука», «Творчество», «Фотки». Начал просмотр с фоток. «Где нас больше нет», «Друзья», «Универ», «Хренология», «Я». В первой были фотки с концертов десятилетней давности – ужасного качества, видимо, отсканированные. В папке «Друзья» - еще двенадцать папок, для каждого друга отдельно. По дневникам и вклеенным в тетради фоткам я уже знал в лицо Влада, Егора, Катю и Настю, но тут появились и те, которых я лишь смутно представлял, и даже такие, упоминаний о которых до сих пор не встречал. Где же они теперь? Я внимательно рассматривал

[2] Это моя жизнь (англ.)

фотки, пытался запомнить лица - это несложно, ребята оказались яркими и запоминающимися. В папке «Универ» всего пять фотографий, причем Маши ни на одной из них не было, если не считать сканированной копии студенческого билета. Оттуда я и узнал ее ФИО. Жаль, что адреса на студаке не пишут. В «Хренологии» были папки с эпизодическими фотками с 2002го до 2006го. Зато я узнал, как выглядят Машины родители и какой была она сама с длинными блестящими волосами, прекрасным цветом лица и открытой улыбкой. Я едва узнал ее. На маленьком черно-белом снимке в студенческом билете у Маши суровый взгляд и челка. В дневнике была пара карточек, но либо отдаленных, либо нечетких. И наконец, в папке «Я», на которую я возлагал большие надежды, оказалось довольно много ее фотографий, раскиданных по папкам с 2004го. и в отдельной папке под названием «12-17 лет» хранились старые снимки. Там и вручение медали, и первый курс (вся группа), и крыша, и знакомый мне город, и концерты… пока я смотрел, меня преследовали мысли: а об этом я читал, а вот здесь я бывал. Надо же! Сколько раз мы, должно быть, пересекались в этом городе и не обращали внимания друг на друга! Как смешно и нелепо все в этой жизни! А что изменилось бы, если бы мы познакомились раньше? Это бы ее не спасло. Ничего и не изменилось бы, только я никогда не прочел бы всего этого, не смотрел бы сейчас этих фотографий, как не читают и не смотрят ее друзья. А едва знакомый человек запустил руки по локоть в ее жизнь и, вероятно, увидит ее смерть… нелепо и смешно, правда? А еще смешнее, что человек этот никогда не отличался привычкой заглядывать в замочную скважину и лезть в чужую душу. Не каждая жизнь вызывала интерес, только и всего.

В папке «Голоса» хранились жуткого качества записи лекций, семинаров, консультаций - скорее всего, на диктофон сотового или плеера. Над некоторыми я от души посмеялся и понял, почему Маша их сохранила.

Самое интересное и, по моим предположениям, объемное – в папке под названием «Творч» - я оставил напоследок. Название не удивило: Маша многое так подписывала – «е-мое», «смерть от скромности», «ну и ну!», «блин горелый» и т.п. Здесь было еще пять папок: «Коллажи», «Мобила», «Рисунки», «Творчество друзей» и «Письмена». В последней я и нашел ее дневник за прошлый год. Несмотря на его обширность, он показался изрядно покоцанным. Почему-то я подумал, что Маша вырезала упоминания о своей болезни, которая, вероятно, именно тогда и дала о себе знать. Но я о ней ни слова не прочел. Определенно, в начале года никаких предпосылок быть не могло, все более чем оптимистично:

«*16 января.*

Егор еще в начале месяца писал, что надо возвращать клавиатуру законному владельцу. Решила не откладывать и отвезти сегодня – папа собирается в город в четыре, я к нему примажусь. Разумеется, меня колбасит: аппетита нет и даже подташнивает – обычная реакция. Но я свято верю, что это последняя поездка. Больше не за чем туда ездить, и никого из них я больше не увижу и не услышу. Гор в «Контакте», пообщаемся, если будет нужно, а Влад, наконец, уйдет из моей жизни.

Я позвонила Егору, спросила, откроют ли мне дверь. Он сказал, звони Владу и спроси. Я позвонила, но телефон, похоже, выключен. Перезвонила Гору, попросила

как-нибудь предупредить домочадцев о моем приезде – может, по мобильнику или по сети. Он сказал: не парься, вези, кто-то всегда дома, там куча детей. И вряд ли в такой мороз пойдут их выгуливать.

Загрузив клаву на заднее сиденье, мы поехали в город. Я попросила папу подождать, на случай, если никого не окажется, или меня не пустят, чтоб оставить клаву в машине. Очень уж не хотелось тащить ее обратно в маршрутке! Егорка тоже хорош, благодетель! Иди туда не знаю куда.

В общем, я еле скреблась по гололеду с клавой под мышкой. Хоть она всего четыре кило весит, рука отсохла. Я стала слабой, нетренированной, быстро утомляемой, да к тому же ее в принципе неудобно тащить, она громоздкая и чехол без ручки. Конечно, я забыла, в каком доме живут братья (точнее Влад), опять заблудилась. Ходила сюда, ходила… эх, кретинизм! Бедный папа, небось, извелся в ожидании!

Найдя нужный дом, я позвонила в домофон, и мне открыли, только имя услышав. Пока плелась по лестнице, Влад уже распахнул дверь и громко приветствовал меня, хотя я еще не могла его видеть. Опять запыхалась. Ввалившись в квартиру, поставила клаву и стащила чехол. Научилась без посторонней помощи с ним управляться!

- Где-то должен быть и шнур, - сказала я, сунув перчатки в карман.

- Да… мы ж не грабители, - промямлил Влад. Так и не поняла смысла реплики – я имела в виду, что шнур от клавы мог остаться в чехле, я же не пойму, выпал он вместе с клавой или запутался в чехле! А при чем тут грабители?

Кинув чехол на плечо, подобрав упавший шнур, я торжественно всучила Владу клаву.

- Эээ, спасибо за беспокойство, - он бормотал еще что-то, уже не помню. И не помню, что ответила. Да что ж было делать, коль побеспокоили?!

- Мне вообще никто ничего не сказал, я вот только сейчас вылез в аську… - продолжил Влад.

Ну да, вечно все не как у людей!

- Ну, в общем, пока, - выговорила я как можно доброжелательней. Надо было сказать «прощай». Все! Ура! Навсегда! Фридом, бэби, фридом! Ну да ладно, ни к чему разыгрывать драму, не та ситуация, не то настроение, и человек не тот. Правда, самым чужим может стать лишь тот, кого любил в прошлом. Такой холод, такое отчуждение, пропасть… ни с кем другим подобного не ощущала.

- Пока. Удачи!

- И тебе, - чуть подумав, ответила я, хотя мне безразлично, будет ему удача или нет. Что может быть удачного, когда у тебя восьмичасовой рабочий день и семь человек в двухкомнатной квартире? Возможно, ему это нравится? Ладно, все равно. Как это уже все равно…

Закрылась дверь в старую жизнь, и некогда любимое лицо скрылось за нею. Тощая фигура все в тех же шортах, что и шесть лет назад, и в какой-то рокерской футболке. Слава Богу, больше не блондин, хотя и на это мне плевать. Теперь можно смело забыть сюда дорогу. Удивительно, как долго все тянулось. Катька, которая познакомила меня с этими чудиками, уж и думать о них забыла и не скучает особо. А я за каким-то хреном шесть лет на привязи к этому дому. Такому ужасному блочному дому среди нагромождения других многоэтажек, со

скользкими, ухабистыми дорожками, чахлыми детскими площадками и перепутанными арками. Дурацкий район, терпеть его не могу. Вроде бы и окраина города, и даже удален от проспекта, но все равно сплошной бетон и куча народу. Жуть. Убежать в свой лес или в свой новый старый дом!

Разумеется, прыгать от радости и скакать вприпрыжку на остановку я не стала – слишком скользко. Включила плеер с «Мегахерцем», то и дело сдирая наушник, переходя бесконечные дороги. Ловить транспорт решила здесь, чтоб не тащиться на вокзал, - чебурахнусь еще, а жизнь-то только начинается! Все эти школьные годы чудесные, подростковые метания, институтские сопли, щемящая неуверенность и стеснительность, недоверие и боязнь… мудовые рыданья, а не жизнь! Теперь пришло мое время! В конце концов, что такое двадцать четыре года?!

А по моей улице – ни души, ни машинки! Только снег поскрипывал под ногами, и сумерки укрывали не знамо от чего. Тишь, гладь, в общем. Хорошо!»

У меня защемило сердце, пока дочитывал этот день. Столько надежд, радости, жизни! Невольно и сам во все это поверил, а потом вспомнил, что автор сего лежит в соседней комнате, и в ее угасшем облике трудно узнать ту цветущую девушку, которую я видел на фотографиях.

«15 апреля.

Решили поздравлять Егора с днем рождения. В половине восьмого Катя позвонила, сказала, что можно выдвигаться, тренировка у нее закончилась. Я собралась и поехала в город. Когда приехала Катя, мы пошли искать котельную, плутая между однотипных блочных домов по каменной равнине. На подругу напала ностальгия, мол, тут прошла наша юность. Ага, помнится, зимой я решила забыть сюда дорогу, никогда больше не видеть Влада. И вот, пожалуйста! Какого я здесь? Юность! Бестолково она прошла, если подумать…

Добрались до Егора, когда сильно потемнело. Он был в шапке, в черной куртке, худой, высоченный, наверное, бледный, но этого не видно в сумерках. Не помню, о чем говорила с ним Катя, – мне, как всегда, третьему лишнему, тут и делать нечего, только подарки отдать, которые все от меня, даже открытка, подписанная Катей, но мимоходом оброненными мною словами. Ушли вскоре, потому что Кате надо, а я одна после десяти отсюда выбираться не хочу».

Прочитав до мая, я решил отдохнуть. Скорее всего, до того времени о своей болезни Маша не знала. Но и потом я ничего не встретил. Только осенью на нее накатила черная тоска, без всякой видимой причины. Вероятно, остались одни следствия. Подобную черноту я читал в тетради с мишками, правда, там причин было хоть отбавляй.

«2 ноября.

Сейчас около семи вечера, уже темно, на нашей улице и днем никого не встретишь, а теперь и подавно. Хорошо было пару лет назад, когда из института приезжала в бабушкину квартиру! Знала, что счастье долго не продлится. Оно и не продлилось. Не думала, что ощущение потерянности и ненужности вернется. А

теперь еще и никакого института. Тогда хоть была надежда на его окончание и изменение чего-то в жизни, а теперь не на что надеяться. И еще это не город, а родной район и не день, а поздний вечер. И все равно придется вернуться в опостылевшую комнату. Причем довольно скоро».

Я отчетливо представил себе, как в один прекрасный день или ночь, она собрала в рюкзак свои тетрадки – самое дорогое, что у нее было, – ушла и не вернулась. Я уже знал, что она способна и на большее, чему удивляться?

* * *

Сразу после завтрака я отправился на ежедневную прогулку, заглянув перед этим к Маше. Она, разумеется, не могла составить мне компанию, и я даже не предложил, увидев, что она так и лежит на кровати.

Я знал из дневников, что ее дом за городом, вероятно, в поселке городского типа (она все время писала, что едет «в город»). Но таких поселков и спальных районов у нас пруд пруди, а конкретного адреса не указано. Почему-то мне казалось, она не стала бы ехать слишком далеко, особенно если ушла из дома ночью. Скорее всего, именно в этом районе и живут ее родные. На сей раз я выбрался довольно далеко, к густонаселенным дворам при пятиэтажках. Там играли дети, ездили машины и прогуливались мамаши с колясками. Местность выглядела более чем оживленной, я даже не представлял, что в каких-то двух километрах от безлюдного поселения Раисы Филипповны обнаружу столько народу. И зачем я здесь? Что хотел найти? Или кого? Подсесть к бабкам и начать выпытывать, где живет Маша Феоктистова, как в дешевом детективном романе? И, разумеется, они бы всю подноготную выложили, а то и проводили бы. Но так только в детективах и бывает. В реальности не чувствую себя даже способным на такое. Я не мог предать Машу, но с другой стороны, просто уехать, втянуться в собственную жизнь и навсегда забыть о ней, оставить умирать в одиночестве, не заботясь о том, успеет ли она попрощаться с родными или друзьями, тоже не мог. Неужели никто не ищет ее? Почему я, совершенно посторонний человек, должен забивать себе голову не касающимися меня проблемами? Мне известно имя и фамилия ее отца, я мог бы спросить случайного прохожего, не знает ли он такого человека. Но я не спрашивал. Я даже разузнал у Раисы Филипповны про местное отделение милиции, но вряд ли они предоставили бы мне такую информацию. Вдруг у меня возникла мысль наведаться в библиотеку, спросить, не числится ли у них такой или такая – надо лишь придумать достоверное вранье, чтобы не вызывать подозрений. А как их не вызвать, если сам придешь туда впервые и не записываться? Нет, глупая идея. Куда бежать дальше, я не представлял. Связей в прокуратуре у меня не было, знакомых следователей тоже и в справочном бюро никаких нитей. Вряд ли отец Маши настолько знаменит, что я найду его в интернете. Ну неужели во всей этой горе тетрадок, на диске, в записных книжках со стихами или в блокнотах нет ни одного номера телефона, ни одного адреса?! Я решил перерыть все еще раз, а потом поговорить с Машей о своем отъезде.

Вернувшись и плотно пообедав в молчаливой компании Раисы Филипповны, я поднялся к себе и перебрал все сохранившиеся у меня Машины тетрадки. Я возликовал, увидев на полях одной из них телефонный номер с подписью «братья».

Рядом с 27 июля 2000го, когда Катя просила ее позвонить и выяснить, не поссорились ли они. Почему же я раньше его не заметил? Возможно, потому, что Маша делала не слишком содержательные заметки на полях, например, когда по радио шла такая-то передача, на каком месте был Кипелов в чарте. И что, неужто я позвоню этому самому Владу, которому до нее, как видно, дела нет, хоть он и осыпал ее комплиментами семь лет назад? Позвоню и скажу: помоги разыскать ее родных, она тут одна умирает, а я не знаю, что делать? Выбора не осталось. Я позвонил. Номер оказался нерабочим. Естественно, за семь лет он мог сто раз измениться! У кого-то не менялись всю жизнь, а у других – довольно часто. Признаться, я почувствовал облегчение, – контачить с этим человеком было бы ужасно муторно, я позвонил от безысходности. А больше ничего – ни одного телефона, ни одного адреса.

Вечером зашел к Маше и в очередной раз начал увещевать ее. Сказал, что завтра уезжаю.

- Аааа, - протянула она, - уже? Да, помню, что отпуск у тебя две недели.

Наверное, я мог бы его продлить, но не хотел: боялся увидеть, как она умрет, и в то же время боялся оставить одну.

- Наверное, мы больше не увидимся, - будничным тоном заявила она, - если в храм зайдешь, помяни, ладно? Мне молитвенная помощь понадобится.

- Маш, не надо, не говори этого, - мой голос предательски дрогнул, и я судорожно сжал ее прозрачную руку.

- Да брось ты. Все ж понятно, не надо делать вид, будто ничего не происходит или со временем пройдет. Точнее да, со временем пройдет. И жизнь пройдет. У всех. Вопрос, когда и как.

Я отвернулся, надеясь, что она не увидит моих слез или сделает вид, что не увидела. Вместо этого она расплакалась сама – не всхлипывая и не рыдая, почти не меняясь в лице. Я просто заметил, как слезы бегут по ее впалым щекам.

- Не волнуйся за меня, - прошептала она, - мама с понятием на этот счет, она не осудит. А может, и папу просветит, если до него, наконец, дойдет. Я их дождусь обязательно. Случается, полумертвые неделями ждут последнего причастия. Так и я подожду. Я знаю. Просто сейчас не время, и мне не хочется видеть, как они страдают. Постарайся понять и ни о чем не беспокоиться.

- Я не могу. Ты тоже пойми, что это невозможно.

- Тогда звони. Раисин номер знаешь? Ну вот, она тебе всегда скажет, жива я или померла. А если захочешь, поболтаем, коль жива буду. Это ж просто, не накручивай себе лишнего.

- Тебе совсем не страшно? – я решился-таки задать этот вопрос.

- Спрашиваешь! Конечно, страшно! Закрадываются сомнения, что ничего не успею, что эта самоуверенность глупая мне боком выйдет и за наглость свою всеми жизнями расплачусь. Я ж сама допросилась, никого винить не надо. Все жизнью была недовольна, роптала: Господи, а можно ли, чтоб сразу к Тебе да поскорее? Вот путь и расстелился. А сама и морфий стибрила, чтоб не мучиться, и родителей бросила, и наглею до неприличия со своим «успею» и «подожду». Иной раз так страшно и больно бывает, что того и гляди позвоню, перекину свою ответственность на других, пусть суетятся, бегают, оплакивают, а я, наконец, успокоюсь. Но потом вроде ничего, отпускает. И еще один день, еще одна ночь.

- Я не понимаю, о чем ты толкуешь, - признался я тоже шепотом, потому что до сих пор глотал слезы.

- Да ничего… все потом станет ясно. Извини, никогда не любила каждое слово разжевывать. Если не понимаешь – значит, не время, надо самому дойти. Ты и так обо мне все знаешь, что к этому добавить…

Я хотел было возразить, что ничего, кроме рассказанного ею не знаю, что дневников не читал, но язык будто прирос к нёбу. Я не мог заставить себя врать. А потому промолчал.

- Не переживай. Незнакомому человеку легко душу открыть. Это родным с тобой как-то жить надо, поэтому им нельзя всего знать. Как свой город нельзя видеть со стороны - иначе не сможешь в нем жить. Я бы, конечно, не хотела, чтобы ты читал, но раз уж так получилось… Бог с ним! Мне так легко было с этим барахлом распрощаться! Невыносимо думать, что моя родня найдет это и читать начнет. Просто невыносимо, понимаешь? Скажешь, небось: подумаешь, какие-то сопливые дневники, что там особенного, наверняка и родители обо всем догадывались, просто тебе не говорили. Пусть так, но сама мысль невыносима. Не хочу в гробу переворачиваться, да и им спокойней будет. Обо всем не догадаешься, и вещи покойника бередят сердце страшно, сама испытала. Спасибо, что избавил меня от них, спасибо за все.

Мы беззвучно плакали, я все еще держал ее руку и дивился несвойственной Маше словоохотливости.

- Скоро все закончится, - продолжила она, - сил нет, как хочется, чтоб поскорее! Для меня начнется новая жизнь. А у тебя какие планы? Есть же наверняка? Мы до самой смерти не научимся жить сегодня.

Я верил, что она знала, о чем говорит.

- Да никаких особо… - промямлил я, - вернусь к работе, может быть, женюсь.

- Как зовут невесту? – спросила Маша.

- Тоня.

- Тоня… Антонина? Красивое имя. И такое редкое сейчас! Какая она?

- Красивая, нежная, спокойная, - подумав пару секунд, ответил я.

- Это хорошо. Спокойствие – это важно. Наверняка вы будете очень счастливы.

- Хочется верить…

- Верь, верь! Без веры ничего не сделать, шагу ни ступить. А любовь - большое искусство, тяжелый труд, но думаю, он тебе по силам, если ты так о детях рассуждал, - она улыбнулась, - а больше ни о чем не волнуйся. Я сегодня Раисе телефоны моих оставлю и если вдруг не смогу сама – она позвонит. Не тревожься, спокойно возвращайся, поминай, если не трудно. Береги Тоню, постарайся сделать ее счастливой. Прочитала как-то в интернете: хорошие мужчины делают женщин счастливыми, а плохие – сильными. Да уж! А мне всегда так хотелось быть слабой! Но не вышло. Так хотелось на кого-то опереться, кому-то довериться, ни о чем не волноваться, все сорняки из души выдрать, все тайны разбросать и не бояться, что тебе опять в рожу плюнут или твои же слова тебе во вред повернут, а если так - воспринимать все проще! Хотелось… да не судьба. Ни к чему не умела легко относиться, все, со мной связанное, было каким-то уж очень серьезным. С детства.

Буквально каждая мелочь! Так что береги Тоню, каменная стена - это здорово! Наверное…

- Маш, почему тебе жизнь не нравилась? Почему ты была недовольна? Я не понимаю… по-моему, так жить больше никто не умел, - вот я почти и сознался.

- Да в какой-то момент начала воспринимать жизнь чересчур серьезно, - ухмыльнулась она, - и пропала. Как Петр: пока верил - шел по воде, как усомнился – тонуть начал. Вот и я – слишком задумалась о жизни, слишком мерзкой она мне показалась и нестоящей, плоской банальной, предсказуемой, бессмысленной. Точнее, если я уже смысл поняла и почувствовала, – надо ли еще пятьдесят лет тут волочить жалкое существование? Вишь, какая я умная, – такие надолго не задерживаются!

- Ты и в гробу хохотать будешь! – я даже рассердился, но стало легче.

На следующий день я собрал вещи и стал готовиться к «отплытию». Маша даже спустилась к обеду и была необычно весела, что навело на печальные мысли. Вечером эйфория прошла, и мы спокойно простились.

- Я очень рад, что познакомился с тобой, - сказал я, стараясь избежать глупого пафоса, - спасибо за эту возможность.

- И тебе, - ответила она, пожимая мне руку, - жаль, не успели стать настоящими друзьями. Но хоть под занавес появился человек, которого захотелось наречь другом. В прошлом ноябре мне тебя очень не хватало. Жаль, не появился тогда.

- Как я мог знать…

- Да ясно, без претензий! – она рассмеялась. Ее глаза по-прежнему блестели. Видимо, я сильно нахмурился, потому как она сказала: – Не мни лицо, варяг! Все нормально, я в своем уме и в памяти. Все уже сказано, правда? Ни о чем не беспокойся. Прощай.

Мы обнялись, а потом и я вышел во двор. Раиса Филипповна проводила меня и закрыла ворота. Маша стояла на крыльце и махала мне рукой. Такой я ее и запомнил.

На следующий день я позвонил Раисе Филипповне, и мы немного поболтали с Машей. Обещал звякнуть завтра. И послезавтра. Почти неделю я звонил каждый день, спрашивал Машу о самочувствии, она отшучивалась, но никогда не жаловалась, что причиняло мне еще больше муки. В первые выходные я приехал повидать ее, предупредив Раису. Мы пообедали втроем и немного поговорили с Машей. Она все реже выходила из комнаты, морфий подходил к концу, а терпеть становилось все тяжелее. Я опять завел шарманку, что надо позвонить родителям.

- Пока не надо, - отмахнулась она, - я дала Раисе номер, взяв с нее обещание звонить после нового приступа.

- А с тех пор не было?

- Нет.

- Так, может, и не будет…

- Может, и нет.

Я не хотел ничего спрашивать. Мысль об этой болезни вызывала у меня дрожь, было тошно узнавать о ней больше, хотя я понимал, что это незаразно, а информация – и подавно, но ничего не мог поделать с этим ощущением. Человек вроде меня никогда бы не смог стать врачом. Раньше я думал, меня выворачивало

только от вида всяких ужасов, а говорить о них я мог спокойно. Ошибался. Не раз приходилось слышать саркастическое отцовское: «ты, однако, впечатлительный!» Но, смею полагать, впечатлительность эта от меня не зависела.

Мы поболтали еще немного о музыке, о книгах, о фильмах, хотя Маша уже ничего не читала и не смотрела.

- Так, лежишь целыми днями, вяло слушаешь что-то… даже не помню, что. Диск на рипите, крутится, крутится… наверное, Раисе офигенные счета приходят за электричество! Но она молчит, а мне спросить неловко…

- У тебя нет больше денег?

- Есть. Еще на пару месяцев хватит.

- Что-нибудь нужно? Смело говори, привезу.

- Спасибо. Ты очень добрый, - она улыбнулась, - но мне уже ничего не нужно. Кроме того, о чем просить не стану.

Я понял и невольно поежился.

- А кроме этого ничего помочь не может?

- Минут на пять. Не забивай себе голову.

Я промолчал, вновь погружаясь в черное болото сознания собственного бессилия. И вдруг представил, что если бы Маша была мне родным человеком? Или очень близким? Что, если она была бы моей сестрой? Если бы на ее месте оказалась мама или Тоня? Неужто я бы так же ежился от бессилия и делал вид, что со всем смирился? Неужто даже в этом случае не смог бы ничего изменить? Но воображение часто заводило меня в тупик. Я ничего не мог себе ответить. Когда-то в детстве у меня был друг и сосед по совместительству. Он жил в частном доме – с огородом и крыльцом, порожки которого подбиты железными полосками. Однажды зимой друг поскользнулся на этих железках и сломал руку. Мой отец тогда сказал: «Да я бы эти порожки разрубил к чертовой матери!» А отец друга и бровью не повел – как были порожки, так и есть. Ходить надо аккуратней, не наломаешься. Вот и что? Я бы, я бы… а ничего не изменишь.

На следующей неделе я тоже звонил, правда, через день. Потом стал звонить еще реже. Всегда находились дела, а с ними и отговорки не звонить. Я прочел все, что было на Машинном диске, – даже творчество друзей, которое нашел весьма интересным. Там были рассказы Егора, Кати, Настины стихи, уж не помню, чьи отчеты, рисунки, письма. Потом упаковал тетрадки и диск в небольшую коробку, перевязал веревкой и поставил на шкаф, рядом с другими коробками.

Через месяц Маша умерла. Я узнал это, позвонив в очередной раз Раисе Филипповне. Заговорив о Маше, она горько заплакала.

- Родители успели? – дав ей немного успокоиться, спросил я.

- Да, успели.

- Когда это случилось?

- Позавчера похоронили. Приступа я не дождалась. Сил больше не было. Вовремя позвонила. Родителей ее я, оказывается, знаю. Живут здесь, прям под носом. Кто бы подумал… - и она опять заплакала.

Я не знал, как себя вести. Попрощаться невежливо, слушать ее стенания выше моих сил, мучить расспросами сквозь слезы – садизм, на который я также неспособен.

- Очень милые люди, жалко их, - сказала, наконец, старушка, - ужасно жалко. Хуже нет, чем собственного ребенка хоронить.

Весь день я не находил себе места. Боль утраты и чувство вины давило, как тракторная гусеница. Наконец, я решил исполнить хоть одно Машино желание: зашел в храм и заказал сорокоуст по новопреставленной Марии. В храме почти никого не было в этот час. Я поставил свечу перед Казанской иконой Божьей Матери, присел на лавку за клиросом и на какое-то время почувствовал себя спокойно и почти легко.

Последующие годы я долго носился с Машинным творчеством, будто стараясь загладить перед ней вину за то, что испугался смерти, что так и не попрощался с ней, что редко звонил и не приезжал. Но ее рассказы оказались слишком своеобразными, чтобы здравомыслящий редактор решился такое напечатать. Из журналов отвечали отказом. Издательства и вовсе не утруждались ответом. Я честно писал, что автора нет в живых, что я взял на себя право опубликовать ее творчество посмертно. Видимо, кто-то счел это красивой легендой, кому-то было безразлично, а кто и просто не решался связываться. Из Машиных дневников я знал, что некоторые рассказы и стихи она выкладывала в интернете. На прозе и стихах (ру) найти это оказалось несложно, остальные сайты написаны так, чтобы ей не забыть, но взгляду со стороны такая информация ничего не давала. На «Прозе» и «Стихах» я даже комментариев не обнаружил, хотя читатели были. То ли не к чему прицепиться, а на этих псевдолитературных сайтах принято ругать, то ли слишком запутано чтобы рецензировать, и сложно для восприятия. Я не филолог, но находил, что написано грамотно, и ни к чему не мог придраться. Так и не сумел я реабилитироваться перед Машей, так и осталась на сердце невнятная вина и сожаление. Хотя уж кто-кто, а я был ко всему лучше других подготовлен…

Я рассказал эту историю Тоне почти сразу. Во-первых, мне ничего не хотелось от нее скрывать и во-вторых, когда я выговорился, полегчало. Тоня, конечно, не ругала меня открыто, но немного отчужденно заметила, что я, действительно, вел себя не лучшим образом.

- Надо было сразу сказать мне, поездили бы к ней вместе, почаще. Может быть, нашли бы ее родителей – дядя Слава мог и ментов подключить. Да и на похороны могли бы съездить…

- Не думаю, что ей бы хотелось принимать толпы посетителей в такое время, - не согласился я.

- А вдруг наоборот? Мне кажется, одному перед лицом смерти куда страшнее.

- Она сознательно шла на это.

- Она шла не на это, а убегала от неудобств и, возможно, в ее понимании, старалась облегчить боль родным. Диковинный способ, конечно… но одиночество видится мне следствием, а не целью.

Я не решил, соглашаться или нет, хотя по праву мог утверждать, что мало кто знал Машу лучше меня.

- В любом случае, единственное, что мы можем для нее сделать, - заключила Тоня, - поминать почаще. А с творчеством не переживай – поделись с друзьями, с кем можешь. Пусть лучше двум или трем людям это придется по сердцу, чем запылится на магазинных полках.

Моя рассудительная, мудрая Тоня. Ее чуткость и отзывчивость привели меня в такое умиление, что я устыдился своих мелочных опасений.

А еще, одно время я искал встречи с ее друзьями, но об этом не стал говорить Тоне, ибо сам не находил объяснения такому поползновению. Ни адресов, ни даже фамилий у меня не было. С Катей и Настей Маша, видимо, жила рядом, поэтому никаких намеков на адрес в дневниках не было. Что до места нахождения братьев – я знал только остановку и место работы Влада. Часто проезжал мимо, и работали мы, как оказалось, недалеко друг от друга, но я ни разу его не встретил. Специально же выискивать его не собирался. Трудно представить себе, как поджидаю его на остановке, напряженно всматриваюсь в лица, отбраковываю ненужных… лишь затем, чтобы ничего не сказать, посмотреть и уйти. Мне было любопытно, знает ли он о смерти Маши, и если да, то как ее воспринял. Узнал, попечалился денек, да и забыл, продолжая жить собственными проблемами? Или иначе?

Я часто вспоминал одну запись в Машином дневнике, которая сильно впечатлила меня, и, по всей вероятности, в связи с этим мне и хотелось узнать про Влада: «*Любовь не бывает безответной. Если человек чувствует ее по отношению к себе, его душа непроизвольно отогревается, реагируя на чужую теплоту, и откликается пусть не такой же любовью, но хотя бы теплом, добром, улыбкой. Если этого не произошло, – значит, любовь слаба? Немощна, самолюбива, эгоистична, а, может быть, ленива? Или ты, как говорится, любишь «по-своему», что тоже мало кого согрело бы, – нужно любить просто, всей душой, всем сердцем, с готовностью жертвовать самым дорогим ради любви, а не каким-то уголком сознания.*

Что же было со мной, как любила я? Так ли холодно и ограничено, малодушно и лениво, что ответить на подобное нечем? Да и любовь ли это была? Ведь я ничем не стала жертвовать, чтобы ее добиться. Но пожертвовала многим, чтобы о ней заявить. Можно сказать, всем, что было тогда самым важным, – свое сердце и душу положила к ногам одного человека. Мало ли этого? Или я не должным образом преподнесла свои дары и ничего, кроме безмолвия не заслужила? Ни в чем не винила, не упрекала до момента, когда надоело винить во всем себя. И тогда почувствовала, что меня предали. Так нелюбовь порождает нелюбовь. Обиду, сожаление, стыд. Этот механизм сработал отлично, так в чем же была моя ошибка?

Я плохой христианин, если мой сосед – язычник. Я не умею любить, если не умею своей любовью вызывать ответную. Катя как-то сказала, что мы на этой земле только затем, чтобы научиться любить. Просто и ясно, я так хорошо запомнила этот момент! Раньше казалось, я умею. Потом стало казаться, совершенно не умею. И нет мне прощения, если выдала за любовь то, что, по сути, ею не являлось! Тогда не меня предали, а я предала и… от этого ли страдаю? Это ли меня мучает или уязвленная гордость? Когда до меня дошло, что меня предали, – я научилась обижаться. И разгордехся, и брата своего опечалих… как тогда любить? С чего начать учиться? Как узнать, способен ли на это? Я ведь даже родителей не люблю, думаю только о себе. И так всегда. Думала ли я о Владе, когда пошла к нему с этой треклятой дискетой с признаниями в стихах? Нет, меня беспокоило, что я не могу с этим жить, что мне надо излить на кого-то свои метания. Наверное, они показались ему непосильными. Я его до сих пор не виню,

хоть и осуждаю. Пытаюсь представить, каково это – быть любимым, как с этим жить. И не могу. Я даже не знаю, каким быть, чтоб любили. Но, наверное, это очень тяжело. А еще тяжелее так ничего и не понять. Ошибка любви! Проклятие нелюбви. Что же все-таки было не так?»

Я почти уверен, что, скорее, Маша ответила сильным чувством на симпатию. Влад активно вызывал ее расположение, а если это делалось осознанно, не представляю, что думать об этом человеке. А еще она не учла, что на любовь можно ответить не сразу: можно сначала не понять своих чувств, но знать, что в душе уже затронуты струны, которые со временем отзовутся, зазвучат. Быть может, эти отзвуки и наполнили сердце Влада в какой-то момент, но он не сообразил, что с этим делать. Хотелось ясности: мне же известна только Машина версия событий, но у каждого своя правда. Может, любовь не отозвалась в сердце сразу, но будет проступать всю последующую жизнь, буквально по нотке. Только теперь еще и с привкусом вины, который и мне хорошо знаком. Проклятье нелюбви. Общечеловеческое проклятье. И мое тоже. *Не спрашивай, по ком звонит колокол, ведь человечество в ответе за каждого, каждая жизнь – часть твоей собственной, поэтому каждый раз он звонит и по тебе.* Машина смерть – это и моя смерть, хотя в моем случае, скорее, рождение.

- Теория хаоса в действии, - сказала Тоня, - нам, к счастью, не дано видеть картину в целом.

- Но мне видится здесь больше, чем хаос. Не просто закономерность случайностей. Божий промысел, если хочешь. Кто-то ведь должен за этим стоять и открывать мне глаза? С какой-то целью, а не просто потому, что настало время увидеть несколько фрагментов целой картины. Почему? Зачем? Печально, что кому-то приходится умирать, чтобы пробудить к жизни другого. Или других.

- Боишься не оправдать? – она села рядом и взяла меня за руку. Во взгляде болезненная серьезность.

- Боюсь. И что-то теперь меня словно подгоняет куда-то. То ли чувство вины, то ли внутренний голос, то ли еще что. Не могу понять, почему нет покоя. Жаль, что и тебя я втянул в свое беспокойство, в неустроенность и невнятность.

Но Тоня крепка и непоколебима. Мы уже много лет вместе, а я ни разу не видел ее сердитой, потерявшей терпение или нервной. Казалось, ничто на свете не могло возмутить ее спокойствия. До поры мне это нравилось – я точно знал, что домашние скандалы и истерики обойдут наш дом стороной. Но когда я сам потерял покой, ее хладнокровие начало меня раздражать. Я сам себе казался глупым и суетливым, а она, как мудрая и терпеливая Женщина (с большой буквы, да), снисходительно сносила мои выходки, не в силах ни понять их, ни принять в них участие. Всему находилось объяснение, на все готов ответ. И вдруг я вижу этот взгляд. Не стоило забывать, какой чуткой она была. И впервые мне пришло в голову, что спокойствие, должно быть, стоит ей немалых усилий – чтобы успокоить и других. Господи, каким же слепым я был раньше, как я мог так жить?!

- Тонь, у меня такое чувство, что кто-то смывает пелену с моих глаз, - я вскочил, прошелся по комнате, - и все мучительнее оглядываться назад.

Она молчала. Сидела, сгорбившись на диване, сцепив перед собой ладони, опустив голову, и молчала.

- Мы ведь живы, зачем-то именно мы остались, надо что-то с этим делать, а тут все так абсурдно и бессмысленно! Боль за болью, беда за бедой, или еще хуже – мелочевка какая-нибудь, которая отвлекает от чего-то важного. И пока в этом дерьме копошимся – настоящая жизнь проходит мимо. Я не хочу умереть, так и не поняв, зачем остался здесь, когда люди, несомненно, лучшие, чем я, уходили. Вот чего я боюсь. Вот зачем надо научиться и жить, и любить.

Она долго плакала в тот вечер. Мы о многом поговорили, узнали друг о друге такое, о чем раньше и не догадывались. Не абсурдно ли? О девушке, с которой был знаком две недели, я знал больше, чем о собственной жене! И смешно и грустно. Наверное, именно в тот вечер мы стали по-настоящему близкими, родными людьми. С тех пор мы оба немного успокоились, поняв, что проклятье нелюбви, по крайней мере, нам и в отношении друг к другу не грозило.

Разумеется, не за чем рассказывать Владу все. Машины монологи, свои рассуждения, разговоры с Тоней я оставил при себе, но нагло исповедался в прочтении чужих дневников и высказал Зорину все, что думаю о его горделивой персоне, – ровным, спокойным голосом, без тени превосходства или иронии, без злости и даже раздражительности. Мы стояли на балконе, некоторые заходили покурить, но в целом было уединенно, и никто не мешал нам. Жены остались в большой комнате, и быть может, тоже общаются. Тоня не будет укорять, что я оставил ее одну, – она сразу все поняла.

- Никогда не думал, что встречу Вас, - завершил свой рассказ я.

Зорин молчал, глядя в черную, подсвеченную городскими огнями ночь.

- Если бы встретили меня раньше, наверняка, разговор получился бы другим, - наконец предположил он.

- Не знаю, - вздохнул я, - к чему теперь об этом! Однако жизнь полна неожиданностей. Я уже привык не удивляться.

- Я к этому привык давно, - отозвался Влад.

- Вы знали о ее смерти? – чуть не забыл об интересовавшем меня вопросе.

- Конечно. Катя рассказала Егору.

Мне хотелось потрясти его дальше: и что? Ты-то хоть что-нибудь почувствовал, хоть как-то в сердце отозвалось? «Катя сказала Егору»… а когда сама Катя-то узнала? Где они были, друзья? Да там же, где я, испугавшись смотреть в лицо смерти. Но я не мог заставить себя выплюнуть эти вопросы. То ли гордость не позволяла, то ли вина. Я не думал, что все сложилось бы иначе, получись у них что-то, – раковая клетка растет девять лет, любовь ей не помеха.

- Она очень страдала? – наконец спросил Зорин.

- Конечно… - вспомнив ее бесконечные дни слабости, морфий, исхудавшее тело, желтоватое заострившееся лицо, промямлил я.

- У вас сохранились эти дневники?

- Разумеется. Что уцелело, оставил себе. Не волнуйтесь, Вам от этого никакого вреда не будет, - догадавшись, к чему он клонит, сообщил я, - это же не компромат, а всего лишь мысли влюбленной девушки. Я не нашел там ни упрека, ни обвинения. Будьте спокойны. Я вовсе не за этим все рассказывал.

- Понимаю, - нахмурился специалист по оптике, - но зачем именно – так и не уяснил.

- Сам не знаю. Возможно, был зол на Вас, и мне хотелось выговориться. Я зол не только на Вас, но злость на самого себя слишком деструктивна для одного. И раз уж судьба свела, сам Бог велел поговорить. Простите, если расстроил Вас.

Но я сам не верил в последнюю фразу. Скорее всего, Влад давно забыл о Маше, а если и вспоминал, – быстро отбрасывал эти мысли и продолжал жить своей жизнью. А что оставалось? У него семья, дети, работа, а девчонки, которая любила его когда-то, давно уж нет на свете, – зачем бередить себя? Понять можно, одобрить сложнее, но и одобрением мертвых не поднять.

На балконе появилась Надежда и окликнула мужа.

- Уже идем, - отозвался он, слегка повернувшись к ней, - мы можем еще поговорить? – обратился он ко мне.

- О чем? – удивился я. – И зачем? Я рассказал все, что помнил, все, что знал. Нечего добавить.

- Да, пожалуй, - Зорин казался растерянным, - Вы правы, конечно… больше говорить не о чем.

Позже, когда мы с Тоней ехали домой, слушая Клэптона и посмеиваясь над той самой песней, она предположила, что Влад хотел выкупить у меня Машины дневники.

- Вовсе не потому, что компромат, ты неправильно мыслишь! Может, она была ему по-своему дорога, да и вообще, разве неинтересно узнать, как тебя любили! Мне было бы интересно!

- Не поздновато ли ему тешить свое тщеславие? – буркнул я. – Кроме боли ничего – по себе сужу.

- Может, и она ему полезна. Все-таки ты пень, раз не догадался!

- А если ему так уж надо – мог бы прямо сказать, как деловой человек.

- Интересно, сотрудничество Мешкова с ним по твоей милости не рухнет?

- Это уже не мои проблемы. Я пешка, пусть Мешков сам с ним разбирается.

- Ты уже разобрался – и нет ничего важнее! – Тоня звонко и мелодично рассмеялась моим любимым смехом.

- Конечно! – мне тоже стало смешно. – Пойми, я никому не собирался мстить или мозги промывать. Мне и самому не лучше. Просто я хотел, чтобы он знал. Я ведь всегда этого хотел, только себе не признавался. А теперь все сложилось, как надо. Мне стало спокойнее.

- А о нем подумай? Тебе-то да, все мы эгоисты. Ему каково? Жил себе спокойно, но вдруг появляется незнакомый человек и начинает ворошить такую личную историю… не завидую!

- Знаешь, мне кажется, ему особо спокойно и не было. Ты заметила на его лице счастье или хотя бы довольство? Скелеты в шкафах никому покоя не дают, так что и ему было полезно кое-что вспомнить. Признаю, я эгоист, но к нему не чувствую жалости. Все свое получили. Мне одна мысль о том, что я не простился с Машей, покоя не давала и точила, как червь. А сейчас думаю, может, еще и злость покоя не давала? Быть может теперь, когда Господь предоставил мне возможность ее изжить, дело пойдет на лад? Он явно снизошел к моей слабости, подумай сама. Это невероятно!

- Может, ты представлял более масштабное свидание? – Тоня опять рассмеялась.

- Бывало, - признался я, - но удовольствуюсь и этим, а то наломал бы дров. Ты поговорила с его женой?

- Не особо. Мне быстро стало скучно, и говорить оказалось не о чем. О мужьях, о детях… конечно, об этом можно до бесконечности, но…

- Ясно, - я остановился, вышел открыть гараж, и Тоня завезла машину внутрь. Музыка стихла, фары погасли. Я закрыл одну воротину, а вышедшая из машины Тоня толкнула ко мне вторую.

- Вот и слава Богу, балаган закончился! – провозгласил я, и мы, обнявшись, направились к дому.

2011